

*Евгений Плоткин*



**Страсть**





# СТРАСТЬ

*Таня, не твоя забота,  
Женька ведь не врал,  
Он, пока кого-то кто-то,  
Камни собирал.*

*Бернс-Маршак-Сагаловский*

В конце семидесятых дворец Марли в Петергофе стоял еще неотреставрированным. Сразу за дворцом, за оградой парка, начиналась еле приметная тропинка. Петляя между дачными участками и лодочными кооперативами, она приводила к поляне, на которой били шурфы ленинградские любители камня. Собачьих упряжек и винчестеров не было, но старательский дух осязаемо витал среди репейника и полыни. Приехав туда ранним весенним утром, мы сразу окунулись в эту особую атмосферу.

Неподалеку, около чахлой петергофской березки, зарывался в землю бородатый мужчина лет сорока – сорока пяти. Яма у него была вполне приличных размеров и походила на индивидуальный окоп для стрельбы лежа. Мужик работал лопатой сосредоточенно и ритмично. Еще два-три часа труда, и окоп потянет на приличную могилу.

– Ммм, простите... Вы не подскажете, ммм...

Человек в яме и не думал реагировать. На глухого он не походил, значит ломает комедию – чужих здесь наверняка не любят.

Я продолжал стоять, разглядывая отвал. Главное – стоять тихо, тишина и стоящий человек несовместимы. Мужик поднял голову и посмотрел на меня, как солдат на вошь. Прочь все интеллигентские глупости, надо переходить на "ты", даже не познакомившись.

– Ну как, как идет? – спросил я. – Как дела сегодня? Есть что-нибудь?

Нос у старателя вспотел, из носа виднелись черные кудрявые волосы. Ни ответа, ни привет, молчит. Но свой, точно свой, сейчас должен пойти на контакт. Мужик прищурил один глаз и процедил:

– Сегодня-а, – пауза, – сегодня-а...есть кое-что. Руку дай!

Я не понял и продолжал стоять истуканом.

– Ну, дай руку! – сказал он весомо.

Я протянул руку, мужик раскрыл мою ладонь, вложил в нее какой-то камень и аккуратно закрыл ладонь. Он опять прищурил глаз:

– Вот... есть кое-что... – и выжидательно посмотрел на меня.

Стоя с протянутой рукой, я понимал, что это проверка "на вшивость" и отступать некуда. Надо думать, и быстро. Что он мог мне дать?

Камень был прохладный, плоский с одной стороны, и, как мне показалось, несколько тяжелее, чем надо. Яшма? Нет, из-за яшмы он не стоял бы сейчас передо мной с таким пегиминым видом. Да и излом у камня был чуть раковистый, гладкий – нет, точно не яшма. Лазурит, малахит отпадают по той же причине.

Мужик, не мигая, наблюдал за мной. Вот паршивец... Изучает как крокодил курицу. Так что же все-таки у меня в кулаке? Может быть, агат или какой-нибудь халцедон, сердолик, например? Вполне возможно, но плоскость у камня не приполированная, а родная – по спайности, у халцедонов ничего такого не бывает. Может, там скол кристалла кварца или горного хрусталя? Ну, это слишком банально, кого возбудит осколок горного хрусталя! Впрочем, если это хороший раухтопаз – дымчатый горный хрусталь, то... почему бы и нет?

Когда-то на Урале запекали раухтопаз в русских печах, в караваях хлеба. От нагревания обыденный дымчатый хрусталь приобретал роскошный золотистый отлив, иногда с медным ржаным оттенком обволакивающего его хлеба – и становился собственно раухтопазом. Однажды я засунул свой образец дымчатого хрусталя в серединку ржаного кирпича по 14 копеек, и все это богатство поставил в духовку. Но пьян был факир, и дымчатый горный хрусталь стал прозрачным и трещиноватым, потеряв последние остатки благородства.

Раухтопаз – по сути, кварц, откуда у него та совершенная спайность, что прощупывается ладонью? Эх, поцарапать бы камешек, определить твердость – сразу бы все на свои

места встало. Но если его царапать, то только с рукой вместе. Да и ведь дело чести, черт поberi... Впрочем, не суть, честь честью, важнее – раухтопаз или нет.

Что-то он тяжеловат для раухтопаза... Или мне кажется? Нет, точно, камешек тяжеловат. А может, это топаз, без всякой приставки "раух", то есть не дымчатый горный хрусталь под шкурой топаза, а топаз собственной персоной?

У топаза прекрасная спайность, твердость "восьмерка" по шкале Мооса, – но это мне сейчас без разницы, цвет – всякий: желтый, синий, бесцветный, винно-лимонный. Тоже хорошо – винно-лимонный... звучит-то как вкусно, и поэтично, да и красиво очень. Вот беда, цвета не видно, и время истекает на раздумья, уже секунд тридцать длится пауза, а мы ее все держим, держим, держим...

Если топаз, то откуда он под Ленинградом, или, точнее, как его занесло в Петергоф? Может, он с Волыни, или с Урала, или из бразильского штата Минас-Жерайс, или, может, это синий, афганский топаз? С Афганистаном мы когда-то дружили, бадахшанским лазуритом цвета вечернего южного неба весь Эрмитаж завален. А какие на нем пиритовые искорки звезд! Сейчас бадахшанского лазурита нет в помине, а про Афган лучше и не вспоминать – война, политика, грязь, какие там самоцветы.

Так топаз или не топаз? В принципе, находкой топаза под Питером можно и нужно гордиться. С этого бока все проходит. Вряд ли это другой драгоценный камень – все из-за спайности. Впрочем, есть еще кое-что. На Урале называли топаз "тяжеловесом" – из-за его удельного веса. Часто кристаллы разных минералов встречались вместе в пегматитовых пустотах, "занорышах" на местном наречии. Опытный горщик, просунув руку в забитый глиной занорыш, мог на ощупь, по фактуре и весу, отличить турмалин от топаза или топаз от горного хрусталя. Хотя кто знает, что там мог опытный горщик, да еще с похмелья...

Так топаз? Действительно, камень тяжеловат, даже без весов – тяжеловат, точно тяжеловат! И спайность. И вообще... Сказать, что ли – топаз? Ведь время вышло, уже почти минута, как я смотрю на мужика в яме, а он смотрит на меня, и все ждут, чем кончится весь этот спектакль.

Я открыл было рот, но потом закрыл его снова, вспомнив, что помимо всех признаков определения, помимо всех знаний, существует также его величество – Чувство Камня. Внутренний голос сказал: посоветуйся с чувством, спроси у него! Пошел вон – ответил я внутреннему голосу, но совета послушался.

Чувство камня в этот момент наконец проснулось. Топаз – сказало оно. Топаз – возопил внутренний голос. Топаз... Время вышло.

– Топаз, там топаз, – сказал я, не разжимая пальцев. И добавил, сам не зная почему, – светлый топаз.

Коллекционер все так же смотрел на меня из окопа. Потом разжал мне руку. Там лежал топаз. Это было прекрасно, я был счастлив.

– Спускайся, – тихо сказал он и освободил место рядом с собой. – Заходи!

Я полез к нему в шурф. У мужика лукаво заблестели глаза, лицо помягчело, и даже волосы в носу больше не курчавились, да и вообще исчезли. Мы разговорились. Оказывается, во время войны в склады Петергофской гранитной фабрики попало несколько зажигалок. Склады горели неистово, вся земля здесь спеклась с кирпичом и до сих пор была жженой и обгорелой. У каких-то сталкеров будто бы имеются карты, где что хранилось, где был малахит, а где сердолики или нефрит. Самое же интересное, что здесь встречаются самоцветы с выработанных ныне месторождений или просто достаточно редкие, по теперешним меркам, камни. Еще более интригующей была полная непредсказуемость находок: ведь можно найти то – не знаю что, там – не знаю где. В этом было что-то буссенаровское среди наших будничных раздолий.

– А изумруды никто здесь не находил? – поинтересовался я.

– Не знаю... А если и находили, то кто же скажет, всем жить охота.

– А вы находили здесь что-нибудь особенное, для души?

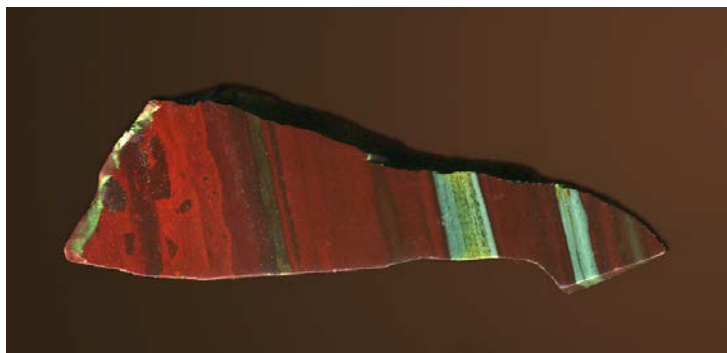
– Да, конечно.

Он достал небольшую белую коробку и открыл. В ней рядами лежали потрясающие кабошоны из моховых агатов. Халцедон был отличный, с изумительным рассеянием света, а дендриты выведены к самой поверхности и казались зыбкими кустиками на мерцающей глубине камня. Весеннее солнце светило в зените, и вся эта красота играла и переливалась.

– Это что, отсюда?

- Да.
- Не может быть! Где вы это нашли? Это же невероятно красиво!
- Все здесь найдено, – он улыбнулся и развел руками, – все до последнего камня отсюда. Откуда сами агаты, врать не буду, не знаю, вряд ли казахстанские, а найдены все здесь. Ищите, и вам повезет.
- Леший его знает, повезет – не повезет. Да и полировать мне негде. Скажите, как вы научились так здорово выводить дендриты на самую поверхность халцедона?
- Ну, как раз это просто – пяток камней загубишь, на шестом что-нибудь да получится. Каждый камень – день работы, так что неделя пойдет коту под хвост – глядишь, на следующей один-другой дендритик из халцедона на поверхность и вынырнет.
- А на сердоликах вам дендриты не встречались? Я слышал, редко, но бывают.
- Не знаю. Здесь легенды ходят, что в одном из шурфов встретились фантастические сердолики, фактически карнеолы. Сердолик от нагревания краснеет, а как раз в это место зажигалка и попала. Трудно сказать, правда или нет – я сам не видел, но говорят, что цвет этих камней соответствует пламени взрыва.
- Интересно. Может, и в самом деле соответствуют.
- Может. Но, на мой взгляд, быть этого не должно. Курите? – и он достал "Беломор".
- Спасибо, нет, не курю.
- Ну и правильно, – сказал он, разминая папиросу. – Я вот пробовал на сигареты перейти – не идет, так "Беломор" и смолю. Чтобы сердолик в карнеол превратить, надо равномерно камень нагревать, да и все равно лишь поверхность красной станет. А во время войны здесь такое творилось... не-ет, сомневаюсь я, что здесь карнеолы образовались. Может быть, привезенные из Индии или еще откуда-нибудь, кто знает.
- Да-а-а, легенды. Моя жена до института была здесь в санатории, совмещенном со школой. Естественно, бегали на кладбище и в лес развлекаться – дети, а где страшнее, там интереснее. Случайно наткнулись в лесу на какую-то делянку, на ней стол кривой стоял, а на столе лежал большой – с кулак – кристалл аметиста, почти весь прозрачный, кроме основания. Вроде бы кто-то из детей его взял, но я так и не нашел концов.
- Вы все-таки походите вокруг. Даже без кирки и лопаты, просто по отвалам. День сегодня хороший, света много – не исключено что найдете что-либо для души.
- Спасибо, обязательно. А-аа... топаз... тот топаз, что вы мне в руку дали, он отсюда?
- Сегодняшний. Но он бесцветный. А с Волыни и с Ильмени сюда возили и цветные, желтые и лимонные – те уж точно были, не знаю, как остальных цветов. Хорошо бы найти, – сказал он мечтательно и снова закурил. Ну, удачи вам, – сказал он, затягиваясь. – Увидимся!
- И вам также, спасибо за встречу. И за топаз, – улыбнулся я.
- Пустяки. Всегда приятно одному сумасшедшему встретить другого...

Я пошел бродить по тропинкам вокруг, и буквально минут через двадцать наткнулся на кусочек кушкульдинской яшмы. Когда-то полосатая кушкульдинская яшма была излюбленным камнем для ваз и столешниц. Но, вроде бы, месторождение практически выработано, и



ни разу на выставках камней я кушкульды не встречал.. А тут – вот так удача, наверняка с довоенных времен лежит. Удача!

От радости все внутри запело, и адреналин ударил в голову и другие места. Начинался приступ старательского азарта. Как мне это знакомо! Рыбацкий или грибной азарт тоже бодрит, но каменный – тот просто выворачивает наизнанку.

## Начало

*Памяти Виталия Семеновича Сорокина*

По-видимому, камни я полюбил еще до появления на свет божий. Некоторым ангел при рождении приносит серебряную ложку, мне же мой принес здоровый булжжик, геологический молоток и книжку Ферсмана "Рассказы о самоцветах". Спасибо ему за этот комплект, ведь мог бы присовокупить пачку сигарет, стакан спирта, глоток холодного чифиря и что там еще полагается выдавать будущим геологам по ангельской разрядке. В результате не стал я геологом, а камни люблю, любовь – "такая штука", с работой напрямую не связанная.

Дело было на Урале, в стольном уральском городе Свердловске. Нет его больше на карте, как нет и Ленинграда, где я учился, да и страны той тоже больше нет, и вообще, многое изменилось. Но не чувство камня...

В детстве камни были большими. Мысль эта не нова, в детстве и деревья были большими, и мороженое было с орехами, но я помню прекрасно свои два года и поселок Гать под Свердловском, где был темный уральский лес с валунами, поросшими мхом, а под ними росли грибы – "габочики". И камни, и грибы вызывали в душе тот самый зуд, от которого в восторге замирало сердце, а ноги сами несли в лес, от камня к камню, от гриба к грибу. "Ветер странствий" – сказали бы поэты, "шило в попе" – сказали бы прозаики, "бывает – сказали бы философы.

Когда мне было лет пять, мой папа-математик сказал своему коллеге, профессору минералогии Анатолию Алексеевичу Малахову, что с ребенком происходит что-то неладное: постоянно ковыряется в земле, несет домой кучи камней, разбирает их, раскладывает, а некоторые даже кладет под подушку. "И давно это с ним?" – спросил Анатолий Алексеевич. "Практически с рождения", – ответил папа. "Понятно, – сказал Малахов, – значит, тащит домой камни, сам не зная почему? Это уже не пройдет, это на всю жизнь, – сказал он. – Ничего, я пришлю лекарство, я сам такой".

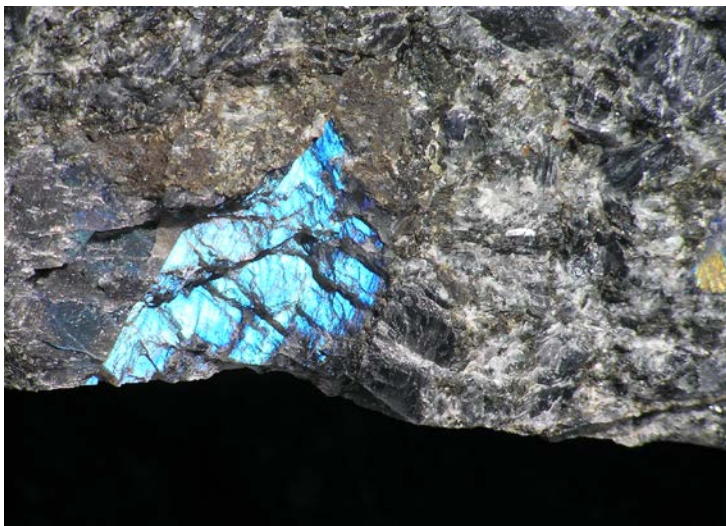
И вот, через некоторое время я получил от Малахова четыре коробки с коллекциями минералов и несколько его книжек. Особенно меня поразила одна из них, называлась она "Л-5 – симметрия жизни". Идея ее проста: в мертвой природе встречаются все виды симметрии, кроме пятилучевой, пятилучевая же присуща лишь живому. Скажем, никогда не встретить снежинок в форме пятиконечной звезды. Шестиконечных, восьми и прочие-конечных – сколько угодно, а пятиконечных – нет. Нет среди кристаллов пятилучевой симметрии, нет – и все. Среди живой природы шестилучевая симметрия встречается, не часто, но бывает. Поймать шестиконечную морскую звезду сложно, но можно, а найти пятиконечный кристалл чего-либо – нельзя.

Книжка эта была несколько фантастической, но я тогда этого не понимал и стал искать кристаллы с пятилучевой симметрией относительно центра. Дело это увлекательное, если есть у кого время – вперед.

Мы переехали в Ригу, и уже в первом классе я познал все прелести и искусства городской минералогии. Нельзя сказать, что маленькая, но гордая Латвия набита под завязку минералогическими раритетами. Можно сказать, что если бы не янтарь, то трудно найти более минералогически унылое место. И, тем не менее, тем не менее... Дорожки парков чистой в те годы Риги были посыпаны мелким дробленным доломитом и известняком. Там встречались чудесные кристаллики кальцита. Медовые, светло-зеленые, прозрачные – они искрились на солнце. Дождаться в Риге солнца было почти так же трудно, как найти хороший образец, но если уж эти два события совпадали, то отличное настроение было обеспечено. А если удавалось найти двойниковый кристалл, то счастьем предела не было. Особенно интересными были кальциты с Бастионной Горки – парк на развалинах стены, окружавшей Старую Ригу, был чем-то вроде заповедника кристаллов самых необычных форм.

По берегам городского канала встречалась кремневая галька. Кремень был неплохой – зеленовато-коричневый, зональный. Иногда попадались желваки размером с мой кулак. Правда, и кулак тогда еще был так себе... Заветным местом для сбора кремня был мост, который вел к Рижскому базару, под ним кремни кучковались колониями, а при малой воде обнажался небольшой пляжик, весь покрытый кремневой галькой. Там я однажды по весне поскользнулся и сиганул прямиком в канал, во всей одежде. Выплыл, но испуг сохранился надолго.

Со времен независимости мостовые Риги были вымощены ледниковыми булыжниками или обтесанными брусками какой-то незнакомой породы. Скорее всего, бруски были диабазовые или габбро-диабазовые, малоинтересные, однообразные, удобные для езды и ходьбы. Кое-где они сохранились в Риге до сих пор. А совсем недавно я встретил их сиамских близнецов на одной из шведских улиц. Совсем другое – настоящие булыжники. В некоторых из них можно было найти зерна альмандина приличного качества, а как-то раз попался даже нетрещиноватый кристалл альмандина величиной с копейку.



Фасады домов искрились яркими пятнами лабрадорита. Две вещи мне были совершенно непонятны: как эти сияющие камни могли залезть внутрь темного и заскорузлого окружения, то есть как вообще мог зародиться синий цвет в черной породе, и зачем такую роскошь пускать на отделку зданий, на которых написано что-то типа "Латпотребсоюз" или, того хуже, просто – "40-я средняя школа".

В одну из вылазок по окрестным дворам я нашел круглый булыжник около десяти сантиметров в диаметре. Он был будто бы одетый в засахаренную рубашку и вызывал недоумение. Меня так и подмывало разбить его по-

быстрее и посмотреть, что там внутри. Я вылез на лестничную площадку, взял молоток и, пока никто не видел, долбанул по камню, предварительно завернув его в газету. Хоть и говорили тогда что в "Правде" нет правды, а в "Известиях" нет известий, но все-таки у нас дома выписывали либеральные "Известия". Да и бумага у них была помягче. На газете, как всегда, красовался Никита Сергеевич Хрущев, а может уже и "лично Леонид Ильич" – короче, удар пришелся по генсеку и, видимо, поэтому оказался очень выверенным. Камень тонко хрюкнул и разошелся на две неравные части. Одна досталась Леониду Ильичу, а вторую я поднял и обомлел. По всей внутренней поверхности искрились и переливались какие-то голубоватые кристаллы. Они так не вязались с невзрачной поверхностью камня, что поверить в их реальность можно было, лишь лизнув – что я и сделал. Во рту защипало, я пришел в себя. Камень этот не сохранился, что это было – не знаю, скорее всего, какая-то жеодка, выполненная целестином. Хотя откуда в Латвии целестин... не знаю. Да и неважно! Это был момент прозрения, когда сразу и навсегда возникло желание заглянуть внутрь камня, полагаясь только на свое любопытство, чувство и удачу.

В третьем классе я отправился с бабушкой в Рижский музей природы и обнаружил там коллекцию цветных агатов сказочной красоты. Я стоял, замороженный, около них и не мог оторваться. В это время мимо проходил невысокий светловолосый человек. Он спросил: "Нравятся камни?" Я сказал: "Да, очень". – "Знаешь, какие это камни?" – "Агаты", – ответил я. "А откуда знаешь?" – "Из Ферсмана". – "Ты читал Ферсмана?" – "Да". Человек хмыкнул, посмотрел на меня и сказал: "Приходи завтра в ту комнату, – он показал на дверь, – там по вторникам собирается минералогический кружок. Придешь?" – "Приду", – произнес я и сразу понял, что приду обязательно. Так я познакомился с Виталием Семеновичем Сорокиным, геологом-минерологом.

Виталий Семенович работал в рижском ВНИИМорГео. Я думаю, что ему бесконечно обрыдла институтская жизнь со всеми ее нюансами, а его могучая позитивная энергия искала выход. Был он педагогом божьей милостью, ну а мы все – шпендрики от 7 до 15 – полюбили и поняли камень милостью Виталия Семеновича.

У Сорокина было худощавое лицо с глубоко посаженными голубыми глазами. В глазах все время резвились чертенята, а иногда пробегали и другие таинственные создания. Это случалось, когда Виталий Семенович рассказывал о камне, об экспедициях, о нудной камералке, о планах на будущие экспедиции. Рассказывал и беспрерывно курил какую-то дрянь, что в детских глазах добавляло ореол романтики в и без того увлекательную картину. Как

легко и непринужденно он держал в руках всю команду, как играючи завладевал мыслями и вниманием – это надо было видеть.

Как-то раз, много лет спустя, мы с моей приятельницей взяли десяток с гаком детей, произведенных на свет в нашей университетской компании, и поехали выгуливать их в Павловск. Казалось, что за поездку они высосут из взрослых всю кровь и не подавятся. Но недалеко от павловских дворцов течет речка Поповка, а вдоль ее русла есть одно обнажение, где испокон веков пасутся практиканты ленинградского геофака и где можно найти вполне достойные окаменелости. Я сказал, что мы будем охотиться на трилобитов. Дети не поняли, чем это грозит, но заинтересовались красивым словом и рассыпались по крутому берегу. И вот на склоне был найден первый отпечаток в виде листа. Все, их можно было брать тепленькими. Могучая сила открытия, сделанного своими собственными руками, подмяла под себя стихию безалаберности, а азарт и впервые учуянный аромат фарта довершили дело. А я, как обычно в таких случаях, вспомнил Сорокина...

Виталий Семенович получил для заседаний кружка длинную узкую комнату позади минералогического отдела Музея Природы. В ней царил запах музейной пыли, настоящий на аромате пыли каменной. В полумраке громоздились ящики с образцами. Все было необыкновенно таинственно, увлекательно и уютно. Мы заходили, доставали тетради по минералогии, садились вдоль длинного стола и ждали Сорокина. Сорокин входил в комнату, держа в ладонях какой-нибудь минерал. Делал он это наподобие того, как несут, не расплескивая, воду или как птичницы показывают новорожденных цыплят. Складывал руки на груди ладонями вверх, а в них, как птенец, лежал какой-то образец, который предстояло определить. "Ну, – говорил Сорокин, – что это за экзemplяр, что за минерал?" Камня почти не было видно, ладони скрывали его структуру, но как раз в этом и был весь кайф. Сейчас я понимаю, что Сорокин за два кружковских года давал детям младших классов хороший университетский курс минералогии. Все диагностические признаки камня, все эти спайности, твердости, блеск, цвет, черта, вся шкала Мооса в своей примитивной красе были изучены, осмыслены на примерах и пощупаны своими руками. Сульфаты, сульфиты, силикаты и прочие геохимические группы переставали быть словесными монстрами, а приобретали человеческое лицо. Курс минералогии Бетехтина заменил одновременно букварь, "Детей капитана Гранта" и "Муму". Найти кристалл пирита, пентагон додекаэдральной формы, было делом чести каждого кружковца. Из дома уволокли всю старую фарфоровую посуду, поскольку где же еще можно найти фаянсовую пластину для определения цвета черты камня... И очень скоро вопрос, почему темный гематит дает красную черту, перестал быть загадкой. Шприцы, соломки для коктейлей и свечи использовались для получения высоких температур. Окаменелости назывались зверушками. На зверушек были свои любители, но основная масса кружковцев была предана минералогии.

Сорокин шел, неся в сложенных руках образец, и спрашивал: "Неужели никто не определяет минерал?" Вот в этом и был весь фокус – забыть о формальном знании и перевести вопрос в сферу чувства. "Все должно быть на кончиках пальцев, все очень просто, – говорил Сорокин. – Если камень поцарапать, да поскрести, да еще в хроматограф засунуть – так каждый дурак сможет камень определить, а ты попробуй просто на интуиции выехать".

Была распространена такая игра. На конец длинного стола ставили ящик с камнями, вытаскивали оттуда какой-либо образец и перекидывали камень на другой конец. Пока камень был в полете, надо было определить, что это за минерал. Пять-семь секунд, и ставка, кто первый назовет минерал, разыграна. "Халькопирит!" – "Очень хорошо, тепло, а почему не пиротин? не борнит? не сфалерит, наконец?"

Я попадал в точку довольно часто. Почти всегда попадал, если минерал был не слишком редким. До сих пор, наверное, могу это сделать, и до сих пор не знаю, как это происходит.

Иногда кажется, что где-то в голове лежат ящички с образами всех когда-либо виденных минералов. Когда ты видишь летящий камень, то не думаешь ни о чем, а инстинктивно сравниваешь его с картинкой, что уже сидит в голове. Инстинкт камня... А почему бы и нет? Если камень летит в тебя, то ведь отклоняешься от камня не потому, что можно схлопотать по лицу, а потому что инстинкт заставляет уклониться. Очень трудно формализовать это чувство. Конечно, можно сказать, что ты анализируешь цвет камня, его блеск, кристаллическую форму, еще тройку-другую признаков. Уверен, это всего лишь полуправда, которая все-таки полу-ложь. На самом деле, пианисту совсем не надо стучать по клавишам, чтобы слы-



шать музыку. И очень трудно отделить, где кончается знание и начинается искусство. Еще труднее узнать, где кончается искусство и начинается провидение.

Много лет спустя... Я вынужден все время говорить "много лет спустя", поскольку действительно *много лет спустя* обстоятельства нашей жизни возвращают нас к рудиментам прошлого. Сорок лет спустя – круче, чем у Дюма, – я был на свадьбе в Хайфе. Среди гостей был самый разнообразный народ: программисты, раввины, врачи, мексиканские шаманы и просто люди. Мама жениха подвела меня к своей приятельнице:

– Вы когда-то уже были знакомы, хотя между вами почти десяток лет разницы.

– Да? – сказал я, – по Риге?

– Конечно, по Риге, вы когда-то вместе ходили в кружок к Сорокину. Познакомьтесь, это Наташа, а это – Женя.

– Вы помните Виталия Семеновича? – спросил я Наташу.

– Конечно, – сказала она, улыбаясь, – как его можно забыть? Да и наши семьи были соседями.

– Помните кружок?

Она чуть помедлила с ответом, и я успел обратить внимание на выражение Наташиного лица. Как будто свет шестидесятых мгновенно вспыхнул в Хайфе и, осветив свадьбу, столы, раввинов, остановился на лице моей визави. Сколько бы я ни встречал сорокинских учеников, где бы я их ни встречал – всегда один и тот же свет возникал, независимо от времени, места и антуража. Как будто он хранится все эти годы в каком-то небесном хранилище и ждет своего часа, а когда дожидается, то светит со всей страстью долгого ожидания.

– Конечно, помню, – сказала Наташа, – хоть и ходила я в него недолго, никакого призывания к камню у меня не было, но разве можно было устоять перед Сорокиным! А вы геолог?

Теперь уже помедлил с ответом я.

– Нет, конечно, я математик, ну а камни – это хобби, навсегда. Вы знаете, Сорокин в этом году умер, курение добило его.

– Знаю, – сказала Наташа, – грустно это очень. Но не будем о грустном! Вы помните, как Сорокин входил в комнату с минералом в руках, как с цыпленком? Какое у него было лицо?

– Конечно, – сказал я, – как такое можно забыть! Руки складывал ладонями кверху и вносил в комнату образец. Вот так, – я сложил руки и изобразил Сорокина с камнем.

– Да, именно так, – сказала Наташа и сложила руки точно таким же образом.

К нам подошли ее дочь с внучкой, израильский ребенок посмотрел на бабушку с испугом. Интересно, пошла бы эта девочка на кружок к Сорокину? – подумал я.

– А вы помните, как кидали камень через стол и определяли на лету, что за минерал? – спросил я Наташу.

– Нет, это было уже после меня, – ответила она. – Вы с кем-нибудь из его учеников поддерживаете отношения?

– Не особенно... Здесь, в Израиле, живет еще несколько сорокинских. Удивительное дело, может быть, благодаря ему, я и не стал геологом. Он дал не только чувство камня, но и чувство профессии, как всегда очень мощно и очень честно. Не знаю, сознавал ли я головой, но все же как-то почувствовал, что значат на самом деле для семей, для жизни бесконечные экспедиции, работа в партиях, а потом рутина камералки. Все это сложно. Любовь к камню – любовью, а работа... Знаете, я недавно встретил где-то анекдот. Встречаются две акулы, одна плывет с юга на север, вторая – с севера на юг. Та, которая с юга, говорит: "На юге появился народ – новые русские. Ты не поверишь: слой жира, слой мяса, слой жира, слой мяса – объедение!" – "Да, – говорит та акула, что плывет с севера, – да, а на севере – одни геологи, кожа да кости. Зато печень!.."

– Тот еще смех, – сказала Наташа с характерной рижской интонацией. – А вы не знаете, ВНИИМорГео еще существует?



– Не знаю, но думаю, что сгинул, как и многое из прошлого. Или из-за не востребо­ванности, или из-за глупости. Откуда сейчас в Латвии геологи?

Кстати, ВНИИМорГео еще раз неожиданно возник в моей жизни. Дело было перед переездом в Израиль, в начале 90-х. Тогда не разрешали ничего вывозить, все считалось достоянием России, ну и Латвии, конечно, тоже, как же иначе. А я знал точно, что свою коллекцию камней не оставлю. Какого черта! Я сам ее собирал, а латышского в ней было только кусочек панциря да зуб динихтиса – девонской кистеперой рыбыны, что мы с кружком нашли на Гауе. Конечно, могли сказать, что это исконно латышская рыба, что это первая латышская рыба, прародительница всех рыб мира, и уж наверняка всех русских рыб, и что, как мигрант, я не могу претендовать не только на зуб латышского динихтиса, но даже на то, чтобы мое имя упоминалось рядом с ее благородным именем, кончающимся, как и положено, на "с"... Идиотов тогда было море, черносотенцев – пруд пруди. Как бы там ни было, коллекцию я решил не оставлять ни за что, ни советской власти, ни ее вскорышам.

Времена понемногу менялись, и если раньше власть претендовала даже на личные архивы, на голопузые фотографии на столе, сделанные ФЭДОм сразу после рождения, на письма бабушек к дедушкам, на хрен знает что, то теперь ее интересовало лишь, как бы наложить лапу и поживиться ценностями материальными.

Я пошел в соответствующий орган, что давал разрешения на ввоз и вывоз, рассчитывая увидеть там очередную клыкастую даму на помеле, а увидел – Майру... Я опешил, так как знал ее давно, она когда-то была продавщицей в рижском букинисте, на улице Стучки или, как ее теперь зовут, Тербатас, около нашей школы. А я ходил туда как на работу, а, точнее, чаще, и уж наверняка с большим удовольствием. В ожидании выноса книг мы с де­вушками-продавщицами болтали за жизнь, и с Майрой тоже – она была прелесть.

Майра меня узнала и сразу поняла, в чем проблема. "Конечно, – сказала Майра, – ты должен вывезти свою коллекцию, ты ее собирал всю жизнь, она твоя и ничья больше. Что хочешь, подари друзьям, а остальное возьми с собой, для памяти и новой жизни. Сделаем так, – сказала она. – Напиши бумагу, о том, что твоя коллекция не представляет никакой ценности, никакой вообще – культурной, научной, художественной, познавательной, эстетической, материальной, наконец, что это абсолютно бросовая вещь, никому в Латвии не нужная, и заверь ее каким-либо штампом, каким угодно, лучше всего круглым. У тебя друзья во ВНИИМорГео есть?" – "Есть, – сказал я, – друзья у меня есть везде". – "Отлично, – сказала Майра, – так и сделаем".

Так мы и сделали, я состряпал эту цидулю, отнес к ребятам во ВНИИМорГео, там проштамповали, Майра ее куда-то подшила, теперь коллекция в Тель-Авиве. Она действительно бесценна – для меня, а для власти – не знаю и знать не хочу.

– Вам повезло, – сказала Наташа, – мы уезжали на три года раньше, тогда не выпускали ничего.

– Еще как повезло, вывезли камни, книги и старинную семейную реликвию – серебряную шкатулку.

– Серебряную шкатулку?

– Да. Бабушка моей жены была петербурженкой, училась в гимназии – ее родители попали в трехпроцентную норму евреев, живущих в столице. На окончание гимназии в 1908 году одноклассники подарили ей шкатулку с "Ночным дозором" Рембрандта на крышке и расписались на внутренней стороне. Она всегда стояла на комодке, в ней хранились счета за газ, электричество, какие-то ЖЭКовские бумажки – всякая нужная дребедень. Я знал, что там она и должна стоять всегда – независимо от страны и существования комодка.

– Но ведь вывезти ее было невозможно, – сказала Наташа.

Вот именно, невозможно, старинное серебро вызывало у чиновников в Питере экстаз и спазмы служебного долга, мы перевезли ее в Ригу, но хрен, как известно, редьки не слаще. В это время в Ригу приехал из Израиля мой соученик, живший там уже много лет. Мы встретились, я ему сказал: "Ты понимаешь, такое дело, шкатулка серебряная, в ней всегда лежали квитанции за газ, за электричество, за свет, повестки мне в военкомат, прочая семейная ерепень, я хочу, чтобы они всегда в ней лежали. Ты можешь как-то помочь с вывозом?" – "Шкатулка серебряная?" – спросил соученик. "Да, серебряная, век, я думаю, девятнадцатый, но не в этом дело, она всегда была в семье, ее подарили соученики бабушки, мне она дорога, именно мне". – "Серебряная, с гравировкой на тему Рембрандта?" – переспросил он. "Да, именно так, девятнадцатый век, это авторское литье, со слабой проработкой резцом дета-

лей, может бельгийская работа, или фламандская, – сказал я, – но не в этом дело, в ней же квитанции лежали, за газ, за электричество". – "Серебряная, голландская – нет, не смогу, – сказал он. – Ты же понимаешь – таможня, они там совсем звери, я возвращаюсь в Тель-Авив, хочу еще пару картин купить, Бректе, например, как я буду с таможней связываться? Не могу провезти". – "Никак?" – "Никак! Не могу". – "Ну ладно, – сказал я расстроено, – оставим эти разговоры про шкатулку, как вообще жизнь в Израиле, как там с работой?" – задал я не слишком осмысленный вопрос. "С работой сложно, – сказал мой знакомый. – Вот что, я заплачу тебе за шкатулку тысячу долларов". – "Что?!" – "Тысячу долларов, наличными". – "Но ведь ты же сказал, что ее не провезти через таможню!" – "Это мое дело, что и как я с ней буду делать". – "Ты не понял. Это шкатулка, которую подарили бабушке моей жены на окончание гимназии в Петербурге. Ее соученики. Она всегда стояла в Ленинграде на комод. Не знаю, где она была в блокаду, но на моей памяти – всегда стояла на комод. В ней хранились квитанции за газ, за..." – "Я знаю, – сказал он, – за свет". – "Да, и за электричество". – "Но ведь тысяча долларов... или полторы тысячи". – "Так, – сказал я. – Так как там с работой в Израиле? И с комодами? Мне нужно будет купить комод, поставить на него шкатулку и складывать квитанции за газ, за свет. Электричество в Израиле дорогое?" – "Ты не сможешь ее вывезти!" – "Смогу, нельзя оставлять семейные реликвии, это аморально". – "Аморально, морально – дело это такое... Так как – за полторы тысячи?" – "Нет!" – "Ну, нет так нет, удачи, позвони, когда приедешь в Израиль".

– И как же ты вывез шкатулку? – спросила Наташа.

– Майра. Я ей рассказал всю историю про шкатулку, про то, что невозможно терять осколки семейной памяти, она все прекрасно поняла, так как с сердцем у нее все было в порядке. "Состояние у шкатулки отвратительное, – сказала она, – проработка стерлась, клейм не видно, ценности большой она не представляет, в музей уж точно не годится, антиквариат примет по весу серебра, как лом. Заплати за нее налог, и все. Пусть она у тебя стоит на комод..."

– Да, – сказала Наташа, – другая жизнь была. Сорокин, твоя Майра... хорошо сейчас вспоминать.

– О хорошем всегда хорошо вспоминать. Пойдем в зал, там сейчас хупу начнут, уже и изгороди поставили, на радость тем, кто поортодоксальнее.

– Не любишь? – спросила Наташа.

– Не люблю фундаментализма, – сказал я. – Люблю камни и свободу.

– Кто знает, что это такое, – сказала Наташа. – Пойдем, вот уже и рав появился, сейчас начнется свадьба...



## Однажды

Однажды у меня выдался свободный от занятий денек, и я отправился бродить по берегу Тихого океана около Ла Хойи – пригорода Сан Диего. Пляж там широченный, песок мелкий и темноватый. Волны набегали неторопливо, принося какие-то плавучие водоросли типа саргассов, а убегали быстрее, оставляя на песке роскошные черно-желтые узоры. Очевидно, где-то неподалеку реки размывают железосодержащие минералы, и в результате образуется вся эта красота. Море работает как опытный старатель, отделяя зерна от плевел, а точнее, разделяя минералы по весу и цвету.

Мыть шлихи меня научили еще в детстве, в геологическом кружке. Берешь самый обычный песок с речного пляжа, кладешь его в тазик, добавляешь воды и начинаешь исполнять ритуальные движения, покачивая бедрами, задом и плечами. Фракции песка отделяются одна от другой, образуя при правильном покачивании галактические узоры, пока, в конце концов, не останется самая тяжелая, которую уже с замиранием сердца тащишь под микроскоп – ну, что у нас сегодня интересного принесла микроминералогия?

На одном из занятий Сорокин тайком подсыпал в песок немного монацита – тяжелого минерала, содержащего иттрий, торий и прочие редкости, и все ждал, намоем мы его или нет. Намыли, и в изумлении смотрели на незнакомые желтые кристаллики, пока Виталий Семенович не раскололся и не признался, что это такое.

Кстати, хорошо известно, что именно так были открыты первые якутские алмазы. Партия Попугаевой шла по реке, и вдруг в шлихах стали попадаться пиропы. Шли вверх по реке, все время пиропы были. В какой-то момент гранаты исчезли. Значит, пиропы нес приток на пройденном участке. Нашли приток – пиропы снова появились, ну, и так далее. В один прекрасный день в шлихе появился алмаз – спутник пироба. Или наоборот – пироп, спутник алмаза. Или спутница? Пироба, то есть огненная – так звучит лучше.

Пиропы меня волновали с детства. Во-первых, они отличались от других гранатов необычайно глубоким цветом. Во-вторых, их добывали неподалеку, в Богемии, а не где-нибудь в Индии, Бразилии или на Мадагаскаре. В принципе, в Чехословакию советский человек съездить мог, а значит – был шанс увидеть пиропы в природе. Ну и, наконец, торговые и литературные названия пироба будоражат воображение: капский рубин, трансваальский рубин, звезда буров. Звучит как песня или, по крайней мере, как рожок: что же ты торчишь дома, когда по берегам реки Вааль капские рубины можно собирать горстями, складывать в матерчатые старательские мешочки с тесьмой и, привезя домой, показывать одноклассникам...

Чтобы не прерывалась связь времен, в каждой семье должен быть артефакт, передающийся из поколения в поколение, хотя бы в виде предания. У нас такой "эстафетной палочкой" была прабабушкина брошка. Это было типичное изделие ювелирного девятнадцатого века – овал, усыпанный мелкими кроваво-красными пиробами, обрамляющими светлосиний сапфир. Таким же, кстати, был и гранатовый браслет Куприна – пять пиропов, обработанных на кабошон, и что-то очень редкое зеленое посередине. Что за зеленый камень имел в виду Куприн – загадка. Зеленые гранаты на украшениях были тогда редкостью, да и сейчас их встретишь нечасто. Большинству вообще невдомек, что гранаты могут быть зеленого цвета – например, демантоид, уваровит или тсаворит. Может быть, Куприн увидел и, удивившись, запомнил, а возможно, он все придумал, и Вера вовсе не зеленый гранат носила, а что-то совсем другое.

В восьмидесятых я познакомился с Олегом, очень странным парнем. По-моему, он был после отсидки, но почему-то заведовал не то складом, не то какой-то подсобкой на фабрике "Русские самоцветы". Мы познакомились и сразу закорешились. В то время моим излюбленным местом отдыха от математики был забор около "Русских самоцветов". Раза три-четыре в день появлялась бабуся в телогрейке с двумя ведрами в руках и шпок-шпок – выкидывала за забор отходы производства. Там, в грязи и смазке, лежало то, что фабрике было ни к че-



му – куски орской пейзажной яшмы, байкальский лазурит со Слюдянки, обрезки нефрита, халцедоны, лабрадоры. Из всего этого гнали ширпотреб: запонки, брошки, пепельницы. Камня было много, сырье вообще не считалось и не учитывалось, его разрезали на плоскости (называлось это "делать фанеру"), потом ультразвуковыми пушками пробивали два десятка заготовок под что-нибудь, а остальное, не глядя, выбрасывали на помойку. А там уже и я был тут как тут, и другие такие же – или сдвинутые на камне, или подпольные ювелиры. Увидев, как я поджидаю бабуся с видом Раскольников, Олег подошел ко мне:

– Идем, я тебе кое-что покажу.

Мы зашли к нему в подсобку, где стояли ящики с образцами.

– Знаешь, что это? – спросил он.

– Образцы, похоже на какую-то коллекцию.

– Правильно, – сказал Олег, – это коллекция Попугаевой.

– Той самой??? Той, что нашла якутские алмазы?!

– Той самой, какой же еще, ты знаешь много Попугаевых?

– А что она здесь делает?

– Долгая история, – сказал Олег. – Хочешь что-нибудь на память отсюда?

Ну, ничего себе, хочу ли я что-либо со склада...

– Конечно, хочу, очень даже хочу, а как?

– Да никак, вот, бери, – и он, запустив ладонь в ящик, достал оттуда образец.

Я взял камень, шалея от счастья. Это был кахолонг – костяной опал, хорошего белого цвета, не серый, а настоящий белый, настоящий костяной.

– Бери, – сказал Олег, – дарю, все уже наполовину растащено, скоро ничего не останется. А ты мне понравился.

– Я?!

– Ты. Уж не знаю, чем. Ты не сидел? – спросил он по-деловому.

– Да вроде нет, – ответил я. – Это хорошо или плохо?

– Когда как, – сказал Олег, – по-разному бывает. Я вот сел по пьянке, набил морду даже не помню кому и зачем. Тебе никому морду набить не надо? – вдруг оживился он. – Ты скажи, я могу.

Я подумал, что есть пара кандидатур из университетского парткома, но сдержался.

– В другой раз набьешь, – сказал я.

– Ну, как знаешь, ты свистни, я мигом.

– Свистну, – пообещал я.

– Я камни люблю, – лицо Олега стало мечтательным, – да, блин, не могу ничем заниматься долго! Неделю сижу, делаю что-то, потом выпью – и все, понесло, куда принесет – не знаю.

– Ты чего? – сказал я. – Забей болт на водку, ты на себя посмотри – умный, красивый, зачем тебе все это дерьмо? Займись камнями, если нравится, или чем-то еще настоящим.

Видимо, Олегу нужен был такой разговор.

– Все путем, – сказал он, – заходи, я тебя как-нибудь внутрь проведу, на склад, выберешь что хочешь.

Я к нему заходил еще несколько раз, говорили по душам, только по душам и говорили – Олег просто разговаривать не умел, только по душам или никак, или сразу в морду, если был под кайфом. В общем, мы дружили. А потом подсобка оказалась запертой, и я потерял его следы. Может и к лучшему, а то не гулять бы мне сейчас по тихоокеанскому пляжу на Ла Хойе...

Пляж в районе Сан Диего упирается в высоченные дюны. С их высоты открываются удивительные виды океана, пеликанов летящих над водой, бакланов на камнях, и одинокого морского льва под скалой, выгнувшего спину в ожидании кольца, которое набросит на него





цирковой клоун. Но шапито уехал, а лев все выгибается и выгибается навстречу солнцу, а обруча все нет и нет...

По склонам дюн бандитствуют земляные белки, обнаглевшие от безграничной веры в гуманное человечество. Иногда они попрошайничают, но в основном просто глазеют на людей с такой страстью, как будто это зрелище заменяет им и хлеб, и воду, и вино

одновременно. Я погнался за одной из белок в надежде немного растормошить это флегматичное создание и сделать хороший снимок. Белка лениво прыгнула с земли на камень странной формы, в котором я неожиданно распознал знакомый с детства белемнит.

Белемниты всегда назывались "чертовыми пальцами", и было их под Москвой великое множество. Но найти по-настоящему хороший "чертов палец" сложно, поскольку, окатанные в ручьях, они превращаются в янтарные карандаши, а настоящие – неповрежденные – встречаются лишь в некоторых карьерах, со всеми сопутствующими этому напастями: собаками, сторожами, самосвалами и просто вязкой и тяжелой глиной.

На самом деле слово "белемнит" переводится с греческого как "дротик" или что-то в этом духе. Подозреваю, что и "чертов палец" – не палец или, во всяком случае, не совсем тот палец, которым черт в ушах ковыряет. Когда-то, в третичном периоде, белемниты наряду с аммонитами были самой распространенной живностью, а теперь весь род вымер в назидание потомкам. *Sic transit Gloria mundi*. Ну, не совсем мунди, но все равно – печально. В деревнях "чертовы пальцы" собирали, перемалывали и лечили этим субстратом лошадей от артритов, не подозревая, что лечат, по сути дела, толченым известняком. Бедная лошадь – мало ей артрита, так еще и мелом кормят. Белемнитное лекарство продается и в наше время в ветеринарных аптеках и стоит немалых денег.

Самые лучшие в своей жизни белемниты я встретил на высоких балтийских дюнах. Мы собрались поехать из Риги в район знаменитого Янтарного в надежде найти легендарный голубой янтарь. Сейчас голубой янтарь можно купить за относительно небольшие деньги – его нашли в Доминиканской республике и в Испании. Этот янтарь молодой, ему лет всего ничего – около 100 миллионов, а вот настоящий плотный балтийский янтарь голубым бывает только в легендах. Но вроде кто-то видел, кто-то слышал, кто-то нашел его в Калининграде.

Советский Союз любовно относился к своим границам и делал из каждой из них зону, на которой комфортно поместилось бы пол-Европы вместе с парочкой мелких ближневосточных стран. Побережье Балтики не было исключением – зона, пограничная зона во всем блеске имперской глупости и вседозволенности. Но на каждую зону в Союзе находилась своя отвертка с винтом. Мы оформили туристский поход в Калининградскую область, проштамповали маршрутный лист какой-то печатью и поехали. Одно "но" – прописка, мать ее ети... Не было у меня рижской прописки, и я поехал по паспорту моего брата – в общем, похожий, хотя, конечно, несколько омоложенный вариант. Хуже дело обстояло с бородатым Мишей Левитом, который числился по документам Леной Петровой. Ну, Лена так Лена, с кем не бывает...

Рядом с поселком Янтарный находится единственное промышленное месторождение балтийского янтаря, расположенное на суше. Там работают открытые карьеры, дающие около полутора тонн янтаря в день. Янтареносную породу промывают гидропушками, грузят по садкам, янтарь всплывает, – ну а отработанное сырье выливается в море в месте под назва-

нием ТРУБА. Это – клондайк чистой воды! Говорят, раньше работникам янтарного комбината давали постоять под трубой с сачком несколько часов по случаю дня рождения или просто в качестве премии... За место под трубой шли малоприятные разборки, и мы сразу отменили все попытки туда просочиться. Но есть другой способ. Янтарная масса мигрирует вдоль берега моря, то приближаясь к нему, то отдаляясь. На высокой дюне засело местное население, которому в зону можно "по закону", и просочившиеся туда мелкие оптовики с биноклями, которые заплатили пограничникам. Как только направление ветра менялось и пульпу прибывало к берегу, мужики, заметив приближающуюся черную полосу янтарного ила, хватали сачки, надевали гидрокостюмы и бросались в воду. Надо было успеть поймать сачком и выкинуть на берег янтареносную массу, пока ее не унесло обратно в море. Кто успел, тот и съел. Как бы там ни было, достали мы гидрокостюмы, сачки, фонари – и поехали. Хоть был ноябрь, а море было Балтийским, мысль о ловле янтаря грела душу и щекотала нервы.

Мы приехали в Калининград, посмотрели на могилу Канта и прямиком рванули в зону. Но что-то нехорошее делалось в воздухе, что-то необычное. Налетали порывы колючего ветра и били по лицу, с криком носились, припадая к земле, вороны. Заночевать решили в старом немецком доме, полуразрушенном, но вполне еще добротном, с покатой крышей, печкой и плитой. С вечера почистили картошку, поставили кастрюлю на плиту и пошли спать, чтобы с утра поесть – и сразу к морю.

Утром картошки в кастрюле не оказалось. Дом был закрыт, кроме нас – никого, только ветер завывал за окнами. Ветер унес картошку? Вряд ли... Пришел хозяин дома, полез под стол и нашел картофелину, надкусанную двумя кинжальными уколами. "Крысы, – сказал, – крысы балуют". То есть как – крысы? Вода в кастрюле ведь не тронутая! "Да как всегда. Люди вымрут – им на смену придут крысы, – философски заметил мужик, получая деньги за ночлег. – Самая толстая и сильная крыса ползет по трубе над плитой, садится над кастрюлей, спускает хвост, по хвосту спускается крыса поменьше – ну, а картошку таскает какой-нибудь крысеныш. Обычно они гирляндой по три висят и мародерствуют над плитой". Я решил, что непременно начищу сегодня вечером картошку и буду караулить – такое надо видеть. Крысеныш, значит, таскает, самый сильный работает на пирамиде, а где же голова всего этого дела? Кто у них тренер, черт побери? Вот его бы поймать да поговорить по душам...

Ветер с утра стал совершенно бесноватым и уже не выл и не гудел, а давил плотной массой воздуха, как в аэродинамической трубе. Дикая красота калининградских дюн, поросших боярышником, барбарисом, калиной, сжалась и прогнулась под его мощью. Идти не следовало никуда, но мы пошли. Шли галсами, выставив сачки для янтаря наподобие паруса. Приятно чувствовать себя фрегатом, но сохранять курс к морю удавалось с трудом. Было хороших двенадцать баллов, позднее стало известно, что именно в это время в Северном море циклон перевернул норвежскую буровую. Голос разума давно уже не был слышен, так как дикая стихия невиданной бури, несущей янтарь к берегу, подминала под себя все остатки здравого смысла. Добравшись до дюны, мы по ложбине спустились к берегу. Почти сразу все стихло, о берег били валы, но не более устрашающие, чем обычно. Метрах в двухстах от берега мигрировал янтареносный ил, черная полоса была прекрасно различима среди валов. Зажатые с одной стороны отвесной двадцатиметровой дюной, а с другой морем, мы двинулись вдоль узкой полоски берега. Прошли с километр, надели гидрокостюмы и полезли с сачками в воду. И тут началось. Отливное течение оказалось многократно сильнее приливного, волны накатывали, отражались от берега и с силой неслись обратно, в открытое море. Удалось выбросить на берег несколько килограммов грязи, а потом стало ясно, что если не отступить, то грязь эта уже никогда никому из нас не понадобится. Все выскочили на берег, но было поздно. Ветер стал стеной, море надвинулось и перекрыло путь назад. Мы укрылись в заливчике и попытались забраться наверх по отвесной дюне. Вот тут-то я и увидел белемниты. "Чертовы пальцы" заполняли в стене дюны метровый слой. Абсолютно нетронутые, неповрежденные, они частоклоном торчали из голубоватой глины. Но глина была сколькая и образовывала отрицательный угол. Так что стало ни до белемнитов, ни до янтаря, хоть голубого, хоть в крапинку – надо было как-то уматывать. Не удалось, и мы забились в самый угол заливчика, пережидая, пока шторм утихнет. Захотелось есть. Море выбросило на берег апельсин. Съели. Потом выбросило луковичку – съели и ее. Потом судачка. Кто-то, наиболее практичный, подошел к нему и задумчиво сказал: "По-моему у него гла-

за еще не совсем белые". Я заглянул дохлomu судаку в глаза и сказал: "Ни за что, ни за какие коврижки! Если шторм продолжится несколько дней, то выкинем на морского, кого сожрем первым, но только не этого судака". – "Нет так нет", – согласились ребята и стали чифирить родиолу розовую – золотой корень. Собрали плавник, разожгли костер, заварили золотой алтайский корень. Это пойло можно пить только по молодости и только если отступать действительно некуда. Чувство такое, будто внутри все встает и больше в этом нутре не помещается. В голове стучат молоточки, пониже тоже что-то тикает. Ощущаешь себя гибридом будильника и кривошипно-шатунного механизма. Но голод прошел начисто, и время потекло спокойнее. На следующий день шторм поутих, и можно было поискать янтарь. Желтая каемка янтарной крошки обрамляла береговую линию. Попадались кусочки с ноготь. Но если удачи нет, то бороться бесполезно. Из-за дюны вылезла кучка красномордых – видимо, от ветра – пограничников с калашниковыми на плечах, магазинами на подбрюшьях и здоровым псом на поводке... Это хорошо, что рожки на брюхе, мало ли что у них на уме, пальнут – потом будешь разбираться уже в небесной канцелярии. Старший подошел и сумрачно сказал:

– Ну?!

Мы достали турпутевку и сказали:

– Вот.

Погранец даже не взглянул на бумажку:

– Нам доложили, что вы оставались в пограничной зоне ночью, – буркнул он.

Вот сволочи, наверняка кто-то из местных доложил, что чужие в зоне. Теперь этот недоумок строит из себя Карацупу, а пес косит под Джульбарса. Ведь прекрасно все знают, и янтарь вроде уже подплыл к берегу после шторма...

– Пошли, – сказал "Карацупа".

– Куда?

– Туда, – сказал обветренный погранец. – Туда, – повторил он.

Стало не до белемнитов и голубого янтаря, запахло совсем другими реалиями. Мы дошли до заставы, где в тепле сидел майор под портретом кого-то из вождей. Видимо, начальник читать умел, так как он развернул наш пропуск в зону, поизучал с минуту, сверил с тем, что видит, и направился к Мише Левиту.

– Елена Петрова? – спросил майор.

– Елена, – ответил ему Миша, который недавно вернулся из геологической партии на Чукотке и выглядел соответственно.

– Понятно, – сказал майор, – Елена так Елена, – добавил он, – почему бы не Елена. Ну, и как с янтарем? – неожиданно спросил он.

Значит, понимает, что к чему, и особенно выделяться ему не хочется – на душе полегчало.

– На букву "х" с янтарем, шторм слишком сильный.

– Да, шторм был редкий, – сказал майор. – Где вы остановились?

– На старом немецком хуторе, с километр отсюда.

– Понятно, – сказал майор. – Даю вам час, здесь около заставы ошиваются лабазники, можете у них купить по полкило янтаря, обрезки и сплав, ничего особенного, но не дорого, рублей за 10-15. Чтобы через час вас здесь не было, – добавил он. – Вот ваши паспорта, – и он неторопливо раздал паспорта с пропусками. – И ваш, Елена, тоже.

Я получил паспорт моего брата. То, что я – не я, майор даже не заметил. А если и заметил, так что???

Я совершенно не жалел о найденном янтаре. Голубого янтаря все равно не поймать, а что еще могло попасть с водорослями на берег – того не знает никто. Но вот белемнитов жалко. Как они смотрелись в дюне – сексуальные и одновременно изящные рудименты мезозойской эры!





Белка уселась на калифорнийском белемните и стала жевать воздух. Сделав для порядка несколько снимков, я пошел вдоль череды одноэтажных магазинчиков, протянувшихся на километры вдоль океана. Торговали они всякой ерундой и были одинаково унылыми и сонными, как будто произошли из одного инкубатора. Километра через два на дороге неожиданно случился магазин камней. Естественно, я зашел и стал изучать витрины. За



столиком продавца сидела немолодая женщина и внимательно наблюдала за мной. Еще более немолодой человек смотрел на женщину и подремывал. Все было подстать погоде и атмосфере городка, не предвещающая ничего интересного. Но камни есть камни, и я заметил несколько мексиканских черно-фиолетовых обсидианов, отполированных под сердце.

За время поездок в Армению я очень полюбил обсидиан. Дорога из Еревана на Севан ведет мимо огромных отложений вулканического пепла, пронизанных жилами вулканического стекла. Черные, коричневые, серебристые стеклянные реки текут по склонам окружающих дорогу холмов, и если как следует среди них покопаться, то можно найти много любопытного. Хорошо видно, как кипело здесь стекло, как появля-

лись и лопались стеклянные пузыри, как они нагревались и покрывались серебристой пен-

кой, как пенка застывала, сохраняя в узорах мгновения своего рождения. Собрать обсидиан нелегко – лучшие жилы идут метрах в двадцати над дорогой, и взбираться к ним по кучам битого стекла – удовольствие не для слабых духом. Зато награда гарантирована – не было случая, чтобы на севанских обсидиановых россыпях не удалось найти чего-либо замечательного. Но это был армянский обсидиан, и он никогда не дает на срезе черно-коричневый узор человеческого сердца. Вот для



мексиканского, ацтекского обсидиана как раз такие узоры характерны. Не зря же индейские цивилизации всех мастей облюбовали обсидиановые ножи для ритуальных жертв. Есть что-то в этом рисунке на камне жертвенно-первобытное. Кстати, срез от обсидианового ножа до сих пор существенно тоньше, чем срез от скальпеля.

Я разглядывал впервые увиденные мексиканские обсидианы, и мне отчаянно хотелось их купить, но сдаваться перед своими слабостями вот так сразу – не хотелось. Женщина заметила мои колебания и подошла.

– *Nice* – красиво, – сказала она.

– Очень красиво, – подтвердил я, – впервые вижу такие. Откуда эти обсидианы?

– О-о-о, из Мексики, конечно, я закупила партию в Тусоне, на минералогическом шоу.

– Да, я слышал, это шоу – грандиозное зрелище. А что-нибудь местное, калифорнийское, у вас есть? Мне бы посмотреть на здешние агаты, надоели бесконечные бразильские.

– Местных камней у нас с мужем совсем немного, есть несколько огненных агатов из Аризоны, но они дорогие. Можно посмотреть, конечно.

Аризонские агаты были удивительными, но покупать их – это разврат развратов.

– Вы давно занимаетесь камнями? – спросил я.

– Мы с мужем любим камни всю жизнь, а когда поженились, десять лет назад, то переехали в Калифорнию, и вот – открыли свой магазин камней.

– Когда вы поженились? Десять лет назад?

– Да, десять. Я из Канады, из Саскатуна, там замечательные люди, открытые, добрые, а здесь, в Калифорнии, люди – дерьмо.

– А ваш муж?

– Он из Нью-Йорка, юрист, вышел на пенсию, мы как-то встретились, поженились и переехали сюда.

– Сюда?

– Да сюда. Дети и внуки остались на Восточном побережье и в Канаде, а мы переехали сюда.

– Дети, внуки???

– Да, у Джейка трое внуков и у меня трое, большое семейство.

Я чувствовал, что камни меня интересуют все меньше и меньше, во всяком случае, меньше, чем эти люди. Подошел муж.

– Привет, я Джейк, – по-американски сказал он, хотя был старше меня лет на тридцать.

– Привет, я Женя, – сказал я.

– Вы откуда? – спросил Джейк.

– Из России, – сказал я, – из России, но давно, а теперь приехал сюда из Израиля.

– Ох – Израиль, Россия, – Джейк улыбался широкой вставной американской улыбкой, – как интересно!

– Вы там были?

– Нет, мы не были, обязательно поедем, – сказала его жена.

– Скажите, а почему вы сюда переехали? – спросил я. – Ведь там, в Канаде – Нью-Йорке, дети, внуки. Здесь легче жить?

– Нет, что вы, тут жить дорого, да и люди... так себе. Но у нас хорошая пенсия, и мы можем себе это позволить – мы ни в чем не нуждаемся.

– Но почему вы переехали?!

– Понимаете, – сказал Джейк, – здесь теплее...и корты хорошие, и океан...

Хоть я и был подготовлен к чему-то подобному, но все же на секунду обалдел и встал истуканом, глупо улыбаясь. Сказать или не сказать, что я думаю по этому поводу?..

– Хм, – сказал я. – Значит, здесь теплее, а там холоднее. Все так просто. Где теплее – там хорошо, а где холоднее – там плохо. А как же дети, внуки?

– А что – дети, внуки? Мы собираемся несколько раз в году, на День благодарения, например, все очень рады – но у них своя жизнь, у нас своя. У вас в Израиле не так? – спросила Сусанна – ее звали Сусанна.

– Нет, у нас не так, и в России не так, и в Израиле. Да и пенсии в России – курам на смех! Знаете, что это означает?

– Смеющиеся куры? – переспросила Сусанна.

– Нет, куры не смеются, это пенсии смешные.

– Что может быть в пенсии смешного? – спросила она.

– Смешной размер пенсии – они очень маленькие.

– Но ведь это не смешно, это грустно, – сказала Сусанна.

– Вот именно, это грустно, потому куры и смеются.

– Я не поняла, – сказала Сусанна и засмеялась.

– Неважно, – сказал я, – хорошо, что вы не поняли – значит, у вас все окей.

Тут звякнула входная дверь, и в нее протиснулась некая дама с кипой каких-то бумажек. Джейк сразу изменился в лице и сказал:

– Подождите, я ненадолго.

Он холодно-важно пообнимался с дамой и увел ее в каморку. Мы с Сусанной говорили о чем-то невнятном, но разговор не клеился. Из каморки раздавался шорох бумаг, бесконечные "окей", "файн" – и снова "окей". Затем раздалось довольно вялое: "*No, thank you, no*" – и дама с бумажками вышла, прижимая к себе небольшой сверток. Джейк выглядел слегка смущенным:

– Налоговая, – сказал он, – у них своя работа, у нас своя.

Мы снова заговорили о камнях. Я почувствовал, что эти люди очень любят камни, но знают их неглубоко, поверхностно и по-дилетантски.

– Сусанна, вы сказали, что у вас с мужем хорошая пенсия.

– Да, очень, – сказала она. – До нашей встречи Джейк работал в крупной фирме 30 лет, да и я все время в Канаде работала.

– А магазин, а бизнес с камнями – зачем он вам?

– Это не для денег, – сказала Сусанна, – нам скучно, у нас все есть, мы оба любим камни и у нас не хватает дела и общения.

– Значит, магазин – для общения?

– В основном – да. Заходят люди, смотрят на камни, спрашивают, мы разговариваем, что-то продаем, ездим на оптовые выставки – в Тусон, например, в Орегон – жизнь движется.

– А деньги?

– Мы не в убытке – но не это главное, мы всегда в выигрыше.

– В смысле?

– Ну, вот вы зашли, мы уже два часа говорим, и я была бы благодарна, если бы еще рассказали о России, об Израиле, о камнях.

Два часа? Я и не заметил, как пролетело время!

– Конечно, давайте еще поговорим, но мне действительно скоро надо идти.

– Конечно, конечно, вот вам наша карточка, *take your time*, увидимся.

– Непременно, – сказал я и открыл дверь.

– Подождите, – сказала Сусанна, – это вам от нас.

– Что это? – спросил я и открыл небольшую коробку. В ней лежал мексиканский черно-зеленовато-сиреневый обсидиан с линиями, образующими рисунок сердца...

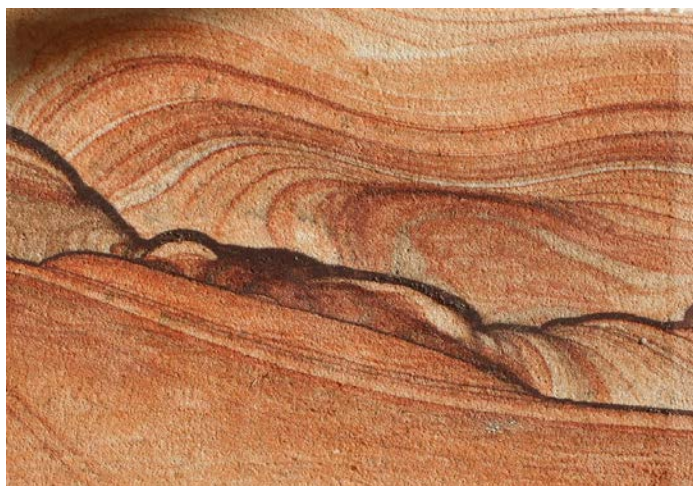
– Зачем, – сказал я, – зачем, я могу купить, это же ваш бизнес.

– Нет, не надо покупать, вы были здесь два часа, мы поговорили – время стоит дорого, возьмите, нам будет приятно.

Я взял обсидиан. Джейк улыбался:

– Запомните, – сказал он, – в Калифорнии теплее, но люди – дерьмо. Мы же с Севера...

Похожий случай произошел за год или два до этого. Вся дорога от Невады к Юте и дальше к Гленн-каньону на границе Аризоны, Юты и Нью-Мексико уставлена каменными развалами, на которых можно купить очень достойные минералы. Мы ехали к Брайс-каньону, вокруг плыли в дымке картины из "Золота Маккензи", а меня не покидала мысль о песчаниках Аризоны и Юты. В Сан-Диего мы купили набор подставок из песчаника, который поразил меня своими пейзажами – казалось, картины каньон-лэндс отпечатались в камне какой-то сумасшедший, но очень могучий фотограф. Подставки были изуродованы надписями, а я мечтал о настоящих, ничем не испорченных камнях. Был день моего рождения, и я рассчитывал на везение.



Стояла дикая жара, все раскалилось, мысль о прогулке была невыносимой. Я заметил около дороги каменный развал метров 40-50 в длину и попросил остановиться. Посреди развала сидел на стуле ковбой в надвинутой на нос шляпе и спал. Его ноги лежали циркулем на земле, носки ковбойских ботинок были вывернуты под тупым углом. Я никогда не видел настолько аутентичных типажей – впрочем, и этого было почти не видно, так как лицо скрывала широкополая шляпа.



"Спи спокойно", – решил я и стал перебирать камни на развале. Минут через пять из-под шляпы раздался голос:

- Что тебе надо, парень?
- Мне нужен песчаник, – сказал, я.
- Лэндскейп? – спросила шляпа.
- Да, пейзажный.

Шляпа снова задремала, носки ковбойских ботинок развернулись еще больше. "Черт с тобой, золотая рыбка, мог бы хотя бы задницу оторвать от стула, когда в кои-то веки покупатель сдуру к тебе забрел", – подумал я, чувствуя, как тают минуты, отведенные мне для покупки камней. Внезапно я услышал свист и выпрямился. Ковбой поднял кусок чего-то с земли и целился этим в мою сторону.

– На, лови, – сказал он и кинул мне под ноги кусок пейзажного песчаника. Потом развернул носки остроносых ботинок под привычным углом и снова затих.

Я застыл от неожиданности, здоровый камень упал и раскололся на две части.

– Вот тебе песчаник, – не поднимая шляпы, сказал ковбой. Потом приподнял шляпу и добавил:

– Два песчаника.

Я подобрал с земли довольно неплохой образец и сказал:

– Спасибо, сколько с меня?

Ковбой не реагировал.

– Сколько я вам должен? – повторил я, потев от жары и смущения.

Ковбой не шевельнулся.

– Подарок, – сказал он, – это подарок.

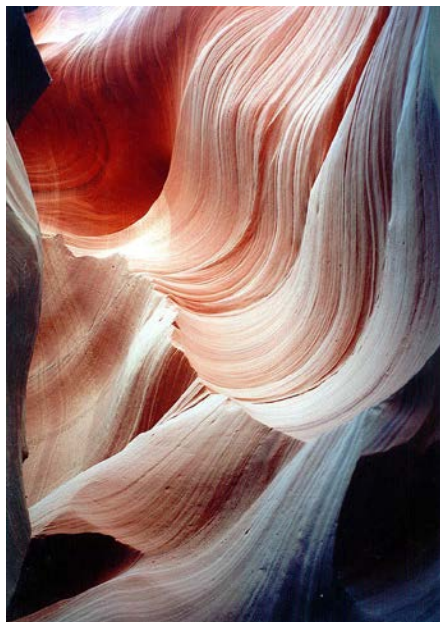
– Вы уверены? – проблеял я. – Почему подарок?

– Ты идиот, – сказал ковбой. – Я сказал подарок – значит, подарок, зачем тебе еще вопросы?

– Ну, спасибо, – сказал я, разглядывая две половинки пейзажного камня. – Спасибо! У меня сегодня и в самом деле день рождения.

Ковбой поднял шляпу, но позу не изменил. Он лишь посмотрел на камень и сказал:

– Два подарка...



Городок Пэйдж находится на западной оконечности Гранд-каньона, или, точнее, в начале каньона Гленн, по которому когда-то текла река Колорадо. На самом деле Гленн-каньона больше не существует в первоизданном виде – на его месте плещется огромное озеро Пауэлл. Каньона нет, а красота его – осталась. Пейзажи вокруг Пэйдж чрезвычайно эмоциональны и со страшной силой провоцируют на что-нибудь безрассудное – например, снять плавающий домик и поплыть по озеру, куда глаза глядят, ловя рыбу, наблюдая за звездами и любуясь полетом орлов над красными скалами. Идиллия, мечта, сказка, пастораль... и, если бы не цена на домики, то еще и реальность.

Но закаты в Пэйдж, к счастью, бесплатные. В них безраздельно властвует голубой цвет, затопляя и обволакивая розовое обрамление гор. Взаимодействие этих двух доминирующих красок тонко чувствуют индейцы Навахо, которые продают по окрестностям свою керамику и камни. Керамика простых форм, но краски... чистые, положенные ровно и точно на шероховатую поверхность белой глины – бр-р-р какие краски, или, точнее, ух-х какие краски, как будто взятые в аренду у окружающей природы. Камни же – ничего особенного, в основном малахит, довольно блеклый, однородный, простой – не чета уральскому. Я перебирал малахитовые бусины, а индеец смотрел мимо меня, как мимо столба – совершенно отрешенно. Конечно, купить малахит у индейца Навахо – почетно. Может быть, он вождь, может, его предки курили трубку мира и метали

томагавки, может, это вообще потомок Монтесумы и я для него лишь таракан на игле времени. Может быть... но малахит все равно паршивый.

– Извините, – начал я, – а кроме малахита у вас есть какие-нибудь камни?

Не меня выражения лица, индеец нагнулся к своему столику и достал откуда-то смятую газету. В газете оказалась еще одна газета, в ней еще одна, и в самом конце, как смерть Кощея, лежала маленькая коробочка. Индеец открыл ее, и в заходящем солнце зажглись – да нет, запламенели – огненные опалы. Ну, ни фиги себе – подумал я, здесь же... здесь чертова прорва, целое состояние! Изобразив на всякий случай придурка, я сказал

– *Beautiful, very beautiful* – красиво, очень красиво, а дорого? Сколько стоят эти оранжевые камешки? И, кстати, как они называются?

Может, индеец и был потомком Монтесумы, но цену опалам он знал хорошо. А жаль...

Я же вспомнил свои первые опалы. Мы с Таней приехали в Винницу на какую-то математическую конференцию. Дело было в начале 80-х, не помню в каком году, но лично Леонид Ильич был еще ничего, во всем цвете своего маразма. "Сиськиматически, – говорил он, – сиськиматически", – и вся страна имела на несколько дней тему для разговоров и хорошее настроение. Вчера в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял посла Мозамбика за посла Ганы и имел с ним дружескую беседу... Ну и отлично, принял и принял, имел и имел... Короче, не помню когда точно была эта Винница, но помню, что до Черненко, поскольку маразм Черненко был намного менее разудалым, чем маразм Брежнева. Мы сошли в Виннице с перрона и первое, что я увидел, была надпись во всю стену: "Речи напрокат". Остановившись и дважды перечитав увиденное, я ущипнул себя за руку. Надпись не исчезла.

– Это украинский язык, – сказала мне Таня, – он такой же, как русский, но немного другой.

– Ах, украинский, – у меня отлегло, – так, значит, здесь не пишут речи Леониду Ильичу.

– Не пишут, – хмуро сказала Таня, – по-украински "речи" – это вещи, здесь прокат вещей, нам не надо, пошли в гостиницу.

Винница мне сразу понравилась. Что-то в ней было теплое и разгильдяйское. На остановке продавали помидоры-пальчики.

– Давай купим, – сказал я Тане, – придем в гостиницу и будем есть хлеб с помидорами – до одури.

– Они же еще зеленые, – сказала Таня, – им еще лежать и лежать.

– Зеленые – так это же отлично, они по 15 копеек... 15 копеек – это даром. Купим, они у нас полежат, и мы отвезем их уже красными домой, в Ригу. Девушка, – обратился я к женщине, продававшей помидоры, – девушка, а сколько ждать, пока помидоры покраснеют?

– Шо? – сказала девушка. – Шо ты спрашиваешь?

– Ну, помидоры ваши, они за неделю дойдут? Покраснеют?

– Да ты шо, з глузду зыхав? – сказала продавщица, – ты шо, это ж я покраснею, а не помидоры. Домой придешь – через час они будут красными.

– Шо? – от неожиданности сказал я. – Что за бред? – добавил уже про себя. – Через час будут красными?

– Ну, вы меня удивляете, – сказала продавщица и посмотрела так, что мы сразу же купили помидоры.

Положительно, Винница была то, что надо.

Поездка в Винницу имела еще одну тайную цель. Я вычитал в каком-то геологическом отчете, что под Винницей есть единственное на территории европейской части России проявление благородных опалов. Это же с ума сойти – опалы на Украине, совсем рядом. Известно было, что опалы встречаются по долине реки Рось, около городка с зажигательным названием Погребище. Но где это Погребище? Приближался свободный день конференции, всех собирались везти не то в музей Пирогова, не то в ставку Гитлера, и я почувствовал, что есть шанс поехать за опалами. Мы пошли на автовокзал за информацией.

Впереди нас неспешно шла по горячему асфальту пожилая чета. Я бы не обратил на них внимания, если бы женщина не сказала:

– Ты знаешь, Изя, – сказала она, – врач послал ее к дерматологу.

– К дерматологу? А шо такое дерматолог?

– Дерматолог?! Дерматолог, Изя – это обмен веществ.

Изя то ли понял, то ли нет – неважно, я же впервые в жизни почувствовал, что черта оседлости существовала на самом деле, а не была придумана в документах, книжках и рассказах очевидцев...

На станции нам сказали, что автобусом можно доехать до Погребища, а там надо спросить, какой-то подкидыш ходит до места, в общем – доберетесь.

В таких поездках очень важно верить в себя. Ведь трудно представить, что живущие здесь люди не вспахали всю почву, не взрыли всю землю, не вытащили подчистую все, что в земле лежит. Какие, к бесу, опалы? Опалы продаются вставленными в золото, как можно найти их своими руками посреди Украины?!

Опалы мы нашли почти сразу. Я знал, что встречаются они в породе со странным названием пеликанит. Как выглядит опал, я знал хорошо, а вот как выглядит эта птичья порода, не знал, но с тупым упорством искал по берегам Роси пеликаниты, пока не наткнулся на первый опал. Кусочек величиной с наперсток был впаян в обрывистый берег и тихо-спокойно ждал, пока его найдут. Я взял опал в руку и убедился, что он не ювелирный. По всему периметру камня шли трещинки, поверхность была беловатая и замутненная. Но это был точно опал, и сердце отплясывало джигу. Довольно быстро я понял, что если провести здесь достаточно времени, то можно что-нибудь найти. Надо искать с поверхности – на поверхности могут быть опалы, которые уже давно лежат и потому отдали всю воду. Если при этом они сохранили игру, то есть шанс, что из них выйдет что-то путное. Не зря опал всегда называли "трескуном" и хранили его кусочки долгие годы в воде, а огненные опалы – в меду. Мед проникал внутрь камня, и постепенно сопротивляемость камня к воздействию воздуха возрастала. Именно поэтому ювелиры, продавая кому-то опал, всегда просили носить украшение – иначе камень может погибнуть. При соприкосновении же с кожей он лечится и не теряет благородства.

И все-таки один ювелирный благородный опал найти удалось. Именно в этот момент все вокруг потемнело, и воздух мгновенно загустел. "Что за... – подумал я, – что за неведуха, только камни пошли, только поманило – и надо сваливать, пока молнией не пришибло". Мы с Таней быстро пошли по полю в направлении деревни. Слева стеной стояла кукуруза, справа двойными рядами росли тополя. "Где-то я уже это видел, где-то видел, – успел подумать я, – но где? У Куинджи?" И в это время дождь лупанул каплями величиной с карточек. Мы кинулись к ближайшей хате. Калитка была не заперта, короткая тропинка вела в сад. Выросший в минималистской Латвии, я от неожиданности остановился. Вся почва была покрыта гниющими овощами и фруктами. Яблоки, груши, сливы, кабачки, тыквы – все было здесь. "Овощебаза, – подумал я, – овощебаза на дому". Дверь со скрипом отворилась, откуда под дождь просунулась нечесаная седая голова. Дедку было лет двести, но его глаза сразу возбужденно забегали.

– Хлопцы, дивчата, – сказал он, ничего не спрашивая, – заходи. Заходи скорей, будь ласка, – и открыл дверь настежь.

Мы зашли в хату. Там было чисто, тепло и спокойно.

– Заходи, гости дорогие, – сказал старик, – заходи, раздевайся, ишь как на улице ревет! Хозяйка, самогон тащи быстрее, неси бутылку, гости у нас.

Дело принимало несколько неожиданный оборот, но с другой стороны – "Пуркуа па", почему бы нет – как говорили французы, заходя в русские избы. Мы выпили, стало хорошо. При ближайшем рассмотрении старик оказался достаточно молодым человеком – лет шестидесяти.

– Почему у вас вся земля в овощах, – спросил я, – почему между овощами куры ходят, а сзади пара хрюшек лежит, когда в Виннице груш и яблок сейчас днем с огнем не найти?

– Так транспорта нет, – добродушно сказал хозяин, – нет транспорта, а если на тракторе, да с прицепом, то нет соляры.

– Что, не на чем все это вывезти? Ну, договоритесь с сельчанами, скиньтесь один разок, продадите все это добро, купите машину, – начал я объяснять дедку основы "Капитала" Маркса, чувствуя, что порю какую-то несусветную чушь, и лишь самогон извиняет весь этот бред.

– А на хрена, – сказал дедок, – на хрена нам со старухой деньги? Куры у нас есть, несутся. Горилку я себе любую нацēju, хочь из груши, хочь из сливы, хочь из табуретки. Хряк лежит за домом – зарежем, засолим, другого откормим, корма видишь сколько. На кой нам суетиться, а? Прав я, – сказал хозяин, наливая себе и мне.

– Да как посмотреть, – начал я, посылая одновременно основы политэкономии куда подальше, – да как на это посмотреть...

– А ты не смотри, ты пей горилку – хорошая, чего на нее смотреть, вот и дождь еще шибает.

Мы выпили снова.

– Вы знаете, что за деревней, по берегам реки, есть опалы? – спросил я.

– Знаю, – к моему удивлению ответил хозяин. – Мы их с детства собирали, теперь уже не то, теперь уже все выбрано с поверхности, копать теперь надо.

– А вы копаете? – оживился я.

– А на хрена? – ответил хозяин. – Что там копать, копай не копай – делать с этим нечего.

Заряд тем временем прошел, выглянуло солнце, но уходить и ехать в Винницу не было ни малейшего желания. Ну, что там в Виннице? Конференция? Формулы налево, формулы направо... А на хрена?

Опал из Погребища наш приятель отполировал на кабошон. Игра у него была по-настоящему благородная, но он со временем потрескался – на то он и трескун. Надо бы его засунуть в воду, да – на хрена? Пусть стоит на полке. Во-первых – красивый, а во-вторых – воспоминаний с ним море.



Лет десять спустя мы были с Таней в Нью-Йорке, на 42-й авеню. Зашли в ювелирный магазин – там все магазины ювелирные. Тут же подбежал хозяин: чего изволите, чем интересуетесь. Мы приехали тогда еще из России – чем мы могли интересоваться? Всем! Поэтому я ответил стандартно: "*Thank you, we are looking around*". Ну, если не дословно переводить, это звучит примерно так: "Спасибо, а мы тут плюшками балуемся..." – короче, ответ должен быть не умнее вопроса. И тут я увидел кольцо с отличным опалом, а хозяин увидел, что я его увидел, и почувствовал, что я при этом почувствовал. Опытный был, паршивец. Но он сделал ошибку.

– Это отличное кольцо с опалом, – сказал он, – я вам рекомендую, австралийский опал, сегодня *discount* – скидка, продаем на два доллара дешевле за карат, чем всегда.

– Можно посмотреть? – спросил я.

– Конечно, – сказал хозяин, – сейчас.

И он достал кольцо. Я немного повертел в руках камень – вспыхнули и снова исчезли загадочные искорки.

– Это мексиканский арлекин, – уверенно сказал я, – мексиканский. Вряд ли у вас есть эфиопский. Это арлекин из Мексики. Он стоит дешевле, чем вы предлагаете. В Австралии этого опала никогда не было, *I am sorry*.

Хозяин посмотрел на меня оценивающе.

– Мистер геолог? – спросил он.

– Мистер математик, – сказал я, – но мистер кое-что понимает в камнях.

– Я вижу, – сказал хозяин, – мистер хорошо понимает в камнях. Вы правы, это мексиканский арлекин. Хотите, я дам за него настоящую цену, на самом деле настоящую – оптовую, зачем мне вас морочить.

– Хочу, – сказал я, – конечно, хочу, но в другой раз.

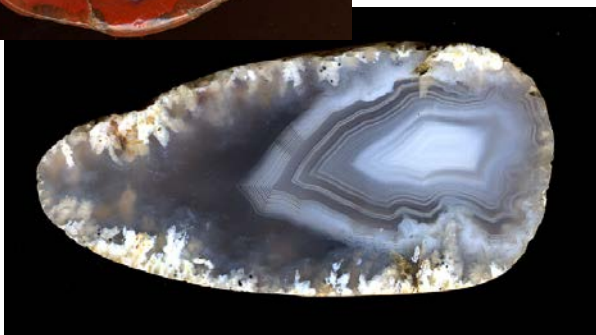
– Но я продам его очень дешево, поверьте, – сказал хозяин без всякого наигрыша, – я вас уважаю, купите – не пожалеете.

Я посмотрел на Таню. Купить хотелось отчаянно. Цена была смешная для такого камня, уж и не помню сейчас, какая, около сотни долларов. Но с другой стороны – а на хрена, как говорил старик в Погребище...

## Аджарские агаты

*Памяти Реваза Асатиани и Аслана Хахутаишвили*

Свой первый в жизни агат я нашел лет в тринадцать, в возрасте библейского совершеннолетия. Камень, похожий на обыкновенную гальку, лежал у самой кромки воды на батумском городском пляже. Был он буднично-неприметен, и, если бы не накатившая волна, то лежать бы ему там до сих пор. Смочив камень, волна иссякла, но проявился зыбкий рисунок линий на полупрозрачном халцедоне. Через секунду солнце уже высушило всю поверхность камня, надев на него маску безликого кварца. Поздно! Я сделал стойку не хуже заправского сеттера и цап-ца-рап – сгреб сокровище. Агат был так себе. Но он был первым, и этот статус давал право на несовершенство рисунка и формы.



Батумские агаты очень разнообразны. Много среди них бесцветных, но при известной доле удачи можно найти и красно-кирпичные, и с розоватым оттенком, и даже красно-голубоватые, с сапфириновым халцедоном. Откуда попадают эти агаты на пляж в Батуми – загадка. Скорее всего, их выносит мощная река Чорох, которая впадает в море с юга от города. По Чороху тогда было не пройти – зона, граница, военный полигон. Истоки Чороха находились в Турции, и это делало поиски коренного месторождения совсем уже безнадежным занятием. Тогда я разделил весь пляж на участки и стал методично обходить его – день за днем.

Яшмы и агаты попадались вдоль Приморского парка почти до порта, а потом наглухо пропадали вплоть до самого Зеленого Мыса. Это было объяснимо – если их приносил Чорох, то галька мигрировала вдоль пляжа, а потом, отражаясь от мыса, уносилась в море. После порта в море впадали совсем другие реки, которые несли совсем другие породы. Необъяснимым было то, что камни встречались семьями, словно грибы в лесу. Сначала я решил, что это чистое везение, вроде картежного фарта. Но когда в очередной раз на расстоянии в пятьдесят метров оказались три гальки желтой яшмы, которой не было ни до этого, ни после, мысли о везении уступили место мыслям о наваждении. Быть этого не может – потому что не может быть никогда! Впрочем, если мизера ходят парочками, то почему бы парчовым яшмам не встречаться тройками? Бред, типичный старательский бред...

Ну хорошо, почему грибы растут семьями? Потому что лес подходящий – сосна, береза, вереск, под землей грибница. Когда время приходит, грибы вылезают наверх – вот, пожалуйста, и три боровика кряду. А как быть с галькой? Море оно и есть море, мелет все, что в него попадает, как заправский мельник, а потом волны и течения разносят камни по всему берегу. Никакой семейственности быть не должно, "все учтено могучим ураганом", или, точнее, могучими ураганами. Почему же все-таки агаты ходят парочками, оставалось совершенно непонятным.

Следующее знакомство с агатами случилось в местечке Кобулети, километрах в тридцати от Батуми по направлению к Потю. Там, на берегу моря, стояли продвинутые санатории эпохи развитого социализма. В них кипела особая жизнь: завтрак, пляж, обед, полдник, ужин, кефир. Первое же посещение пляжа потрясло меня до глубины





души. Мелкая галька буквально искрилась великолепнейшими халцедонами. Халцедоны халцедонам рознь, бывают халцедоны, которые недалеко ушли в своем развитии от вездесущей двуокиси кремнезема, то есть, по-простому, от кварца. Эти же были другими. Свет проникал к ним в самую скрыто-кристаллическую душу, отражаясь и рассеиваясь во всех направлениях. Цвета тоже были волшебными. Встречались сердолики, карнеолы, лимонно-желтые халцедоны, голубоватые сапфирины. Иногда можно было найти то, что подпадало под определение полуопала, хотя слово это до сих пор остается загадочным и толком никто не знает, где кончается халцедон и начинается полуопал. Довольно быстро я нашел несколько обычных агатов и один ирис-агат. Муар бежал по его тончайшим полоскам, и если бы не физика с ее дифракцией и интерференцией, то можно было подумать, что некий маленький бесенок внутри агата раскидывает кружева по каменным берегам. Особняком стояли парчовые яшмы. В отличие от уральских, они были пронизаны халцедоном и потому кое-где прозрачными на просвет. Рисунка определенного не наблюдалось, зато иллюзия богатой восточной ткани создавалась полная. Все в минералогическом Кобулети было так прекрасно, как и должно быть в месте, облюбованном грузинским высоким начальством. Все – за исключением размера. Халцедоны были до обидного миниатюрными, не больше двух-трех сантиметров в диаметре.



В один из дней я решил дойти до устья реки Натанеби. Если камни несет Натанеби, то там должны быть халцедоны покрупнее. До Натанеби от Кобулети километров пятнадцать. Чем ближе была река, тем мельче становилась галька и тем сильнее становилось разочарование. Надо бы вернуться, но никак. Вдруг все изменится еще через километр, вдруг еще немного – и случится отмель, вся усыпанная агатами. Как здесь вернешься... Хорошо помню это чувство – не азарта, а остервенения вопреки разуму. Берег по направлению к Натанеби становится плоским, как блин. Надвигалась гроза из разряда настоящих батумских. Я только собрался прислушаться к голосу разума и вернуться, как наткнулся на приличную яшму посреди песчаной отмели. Не иначе, как дьявол искушает, подумал я, и тут же пошел дальше вслед за искушением. До реки оставалось километра два, не более, когда небо приобрело свинцовый оттенок, а воздух стал вязким и липким. Надо возвращаться, нет агатов на Натанеби, там песок, мелкий песок. И тут ударили молнии, все сразу, как из пулемета. Я лег на землю и стал окапываться. Вокруг не было ни кустика, ни ложбинки, ничего вообще выдающегося, кроме моего еврейского носа. Сейчас как долбанет... Молнии били беспрерывно, в основном в море, но недалеко, совсем недалеко, а несколько раз даже совсем близко. Канонада продолжалась минут двадцать, а потом все стихло. Как и не было ничего. Я все-таки дошел до реки. Галька исчезла совсем, появился черный магнетитовый песок. Из этого песка древние колхи и халибы плавил железо, которое продавали по всему эллинистическому миру. Так, во всяком случае, писал Геродот. Или Ксенофонт. Или Аристотель. Они о разном писали, эти древние греки: об атлантах, о гипербореях, о доблестях, о подвигах, о славе. Но не об агатах на Натанеби.

Прошли еще годы, мысль об агатах Батуми и Кобулети лежала где-то в заглазниках памяти, ожидая новой поездки в Аджарию. Когда же мы с женой снова оказались в Батуми, я понял, что без попытки разгадать загадку местных агатов не уеду ни за что. Приморский парк сильно изменился со времен моих детских приездов. Появился роскошный променад, пальмы, дорожки, скамейки. Но в конце парка все еще стояла старая харчевня. Мы зашли в нее и мгновенно окунулись в атмосферу трав, пряностей и жареного мяса. Меню состояло только из чахохбили, и потому отсутствовало. Душно было – хоть топор вешай, но топор, подвешенный над чахохбили, уже не совсем топор, а, скорее, кинжал. Народу было много, в основном небритые от рождения мужики, поглощенные мыслью о пище земной и хлебе насущном. В общем, правильное было место, настоящее.

Мы сделали заказ и сели в углу.

– Слушай, – сказал я, – давай попробуем туда съездить, вдруг пойдем, откуда агаты.

– Куда туда? Ты о реках около Кобулети? – спросила Таня.

– Немного ближе, район Чакви, из всего побережья Аджарии не пройден только кусок от устья Чаквисцкали до реки Кинтриши. Дурь, конечно, блажь, но очень хочется снова найти несколько халцедонов. Тех самых, детских, что дома лежат – красивых, но маленьких.

– Маленьких? Ты уверен? А если будут большие, куда их класть?

– В корзинку, – сказал я, – давай пойдём на батумский базар и купим корзину для камней.

– Псих, – сказала Таня. Это было, без сомнения, согласие.

Чахохбили было божественным. Я отломил лаваш, окунул в душистый навар, зацепил мясо... А может, и в самом деле повезет, психам и детям – везет.

Не все знают, что на Черноморском побережье, в приморских соснах, много грибов – в основном, маслята. Я встречал их в Пицунде, Кобулети, Очамчири. Но еще меньше знают, что в Батуми на базаре, среди трав и специй, продают великолепные грибные корзины килограммов на десять-двенадцать – легкие, удобные, сделанные из дранки. С такой корзинкой мы и поехали искать камни.

Река Чаквисцкали впадает в море чуть южнее поселка Чакви. Галька около ее устья была внушительных размеров, но агаты там отсутствовали напрочь. Зато весь берег оказался усыпан дикими грецкими орехами. Очевидно, где-то в горах прошли дожди, и теперь море выкидывало на берег то, что принесла река. А тут как раз корзина под рукой. Какие там агаты, сегодня дают орехи...

И все-таки я честно пытался понять, что происходит с галькой. Чаквисцкали несла какие-то странные зеленые породы, которые мне было сразу не распознать. Остальная галька была несимпатичной, лишь отдельные порфириды с цеолитовыми пятнышками давали надежду на агаты и халцедоны. В принципе понятно, что кобулетские халцедоны образовались из третичных лав, переотложенных и исковерканных. Порфириновая галька об этом и свидетельствует. Но где конкретно находится источник пляжных россыпей? Через километр от Чаквисцкали грубоватая речная галька сменилась морской, хорошо окатанной, и стало ясно, что если эта река и несет халцедоны, то совсем немного, и за кобулетские россыпи никак не отвечает.



Удачи особой не было. Так себе прогулка, то яшмочка попадет, то агатик, но не ах, да и немного, все камни трудовые, честно выхоженные, не коллекционные. За исключением одного прекрасного сердолика. Вообще-то это был розовый агат или розовый халцедон, а не настоящий, густо окрашенный сердолик. Зато такой цвет не получить никаким нагреванием или провариванием в кислотах, чем так грешат индийские – да и бразильские – камни. Розовые сердолики-халцедоны – фирменный знак Кобулети. Цвет варьируется от нежно-розового до красного, и лично мне он больше всего напоминает цвет пенки клубничного варенья.

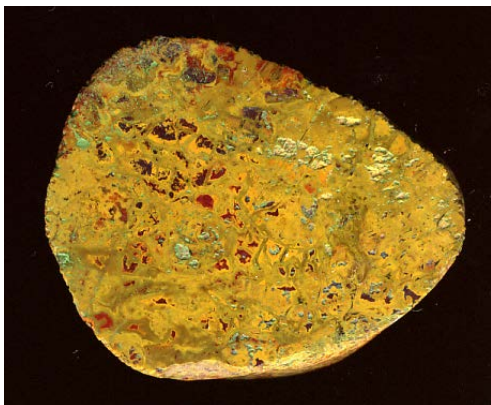
Сейчас так просто купить в магазине клубничное варенье. Но где купить его пенку?.. Клубничные халцедоны можно еще встретить на легендарном Карадаге или уже в южном полушарии: Ботсвана, Мадагаскар, Австралия. Где-то они сидят и в горах Аджарии, где-то есть "аджарский Карадаг", что дает начало всем крошечным пляжным агатам. "Найду, обязательно найду", – сказал я сам себе, и мы побрели по пляжу в сторону Кинтриши, волоча корзину, полную орехов.

Неожиданно снова появились парчовые яшмы. Я, конечно, их ждал, но все равно они появились неожиданно, сразу и много. Потом пропали, потом снова появились. Что за странная игра в прятки на берегу моря. Если уж играть, так давайте сыграем в кошки-мышки, причем я хочу быть кошкой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Во время поиска камней зачастую разговариваешь с собой и с камнями. Это такое функциональное помешательство, позволяющее скоротать время и приманить удачу. "Ну давайте, давайте, – говорил я сам себе, – ну, пора уже, и



корзина эта, и орехи – устал я, ну, появляйтесь же, Кинтриши совсем близко, пора появиться". Пора... Кому пора, а кому и нет. Пора, мой друг, пора, душа чего-то просит – так, кажется, у Пушкина? Или почти так, не суть... Чего просит душа? Хотя бы несколько халцедонов для удовольствия, и еще один для коллекции, и еще парочку – для понимания...



И снова, как когда-то, я поймал себя на мысли о том, что море очень большое и бесконечное, а яшмы маленькие и легкие. Так почему же волны не расшвыривают их по всему пляжу ровным слоем, а аккуратно приносят к берегу семьями? Какая может быть разумная причина для упорядоченности, если море – это стихия, если ветер – это хаос, если волны – это мощь?

Появилось устье Кинтриши.

– Танька, – сказал я, – похоже, Кинтриши и несет те самые халцедоны, но все равно это ничего не объясняет, так как слаба она для этого, не сформировать ей пляжную гальку. Конечно, яшм стало больше к ее устью, но мы-то к югу от устья, а она выбрасывает в море материал, который будет дрейфовать к северу. Давай я попробую понырять здесь – может быть, в море будут видны галечные отмели.

Таня выразительно покрутила возле виска, но возражать не стала, ведь чем бы дите не тешилось... Да и что толку возражать – благодущие, вызванное чахохбили, испарилось, я уже завелся.

– Ничего себе, "тихая охота", кошки-мышки, – буркнул я и полез в воду.

Искать камни под водой без акваланга – занятие бесперспективное. В море в солнечный день все камни – халцедоны, а если день серый, то все – булыжники. Но оценить галечные косы все же можно. Вода была умеренно прозрачной, и мне показалось, что на удалении от берега галька распадается на фракции – как и положено при вращении в большом тазу, имя которому море. Но это же Черное море, а значит, глубина нарастает быстро, и ничего определенного без акваланга сказать нельзя. Эх, нырнуть бы здесь с аквалангом... да еще бы и вынырнуть после этого... Особенно надо бы понырять от устья Кинтриши направо, ведь если море – таз, то трудолюбивый Кориолис вращает его именно в эту сторону. Но акваланга не было, и я возвратился на берег, к Тане, яшмам и корзине с орехами.

– Женя, – сказала Таня, – не пора ли нам назад, в Батуми?

– Нет, конечно, еще немного поищем, когда еще доведется здесь побывать!

– Псих, – сказала Таня, и я понял, что на этот раз это, без сомнения, решительное несогласие...

Мы вернулись в Батуми с корзиной орехов, несколькими достойными образцами и щемлящим чувством разлуки с Кобулети.

– Вардо, – спросила Таня хозяйку дома, – эти орехи в пищу идут?

– Орехи? Какие орехи, эти? – Вардо посмотрела на корзину.

– Эти, мы их собрали вдоль моря.

– В пищу нет, – сказала Вардо, – эти в пищу не идут.

– Как не идут? Мы же их ели, они что – несъедобные?

– Почему несъедобные, – удивилась Вардо, – кушать можно.

– А в пищу?

– А в пищу – нет.

Так, наметился логический тупик... Вышел муж Вардо, дядя Аслан, сто килограммов ума, доброты и лукавства. По-русски Аслан говорил плохо, но мысль свою доносил лучше любого носителя языка. А с мыслью у него было все в порядке.

– Вардико, – сказал Аслан на международном языке, – Вардико, – и продолжил что-то по-грузински.

Вардо, выслушав Аслана, заулыбалась.

– В пищу эти орехи не идут, – радостно повторила она, – в пищу идут орехи с базара, чищенные. А кушать, конечно, можно, почему не кушать?

Одной из моих детских мечт было поехать на родину Вардо, в аджарское село Махунцети, недалеко от турецкой границы. Там проходила дорога минералогических чудес из Батуми в Ахалцихе и Вардзю. Где-то на этой дороге находился перевал Годердзи с место-

рождением окаменелого дерева. Представить, что дерево полностью замещено опалом и халцедоном, я не мог тогда при всем желании. Как и не мог представить, что в заповеднике Петрифайд-Форест увижу целый дом, построенный индейцами из окаменелого дерева, поскольку никакого другого материала под рукой у них не было. А вот на Годердзи я до сих пор не был. Оказалось, что проще съездить в Аризону к индейцам, чем в Махунцети к друзьям. В те времена даже обширные связи Аслана не могли преодолеть придурковатости советских пограничных правил, и Годердзи остался "терра инкогнита".

Благодаря Ревазу Асатиани и Аслану Хахутаишвили, двум математикам, друзьям, двум замечательным людям, я увидел и полюбил Грузию. Реваз был гурийцем, возможно даже, гурийским князем, поскольку все Асатиани были когда-то князьями. В одну из наших совместных поездок по Грузии мы оказались в небольшом селе. Утром я увидел Реваса в охотничьей шапочке и с ружьем.

– Реваз Валерьянович, куда это вы?

– Куропатки, – сказал Реваз, – вечером будем есть куропаток.

Я впервые в жизни видел человека с ружьем, который собирался заниматься осмысленным делом. Но я никак не предполагал, что Реваз может кого-то убить. Вернувшись со связкой каких-то птах, Реваз сказал:

– Женя, сегодня Ртвели, мы будем пить мачари.

То, что Ртвели – это праздник сбора урожая, я знал, но что такое пить мачари – еще нет.

– Мачари – это что? – спросил я Реваса тоном ребенка, спрашивающего Раневскую "Бабушка, а что такое счастье?" "Вырастешь, женишься – узнаешь, – сказала Раневская, – узнаешь, но будет поздно..."

– Вечером узнаешь, – сказал мне Реваз, но, в отличие от Фаины Георгиевны, ничего не добавил.

Вечером был праздник, мачари оказалось молодым вином нового урожая. Считается, что слабые духом засыпают лицом в салат, а сильные – мордой в десерт. Они не были в грузинском селе, не пили мачари из рога, не закусывали сыром, травами и ореховым сациви. Молодое мачари вырубает ноги и все остальное, но почему-то оставляет в полном порядке рот и особенно челюсти. Видимо, для того, чтобы гость мог продолжать есть, а главное – пить и произносить тосты. На мой взгляд, Реваз выпил море мачари, не потеряв при этом и грамма своего обычного благородства.

– Гуриец, – сказал мне дядя Аслан, – посмотри, Реваз – настоящий гуриец.

– А что гурийцы? Чем они отличаются от остальных грузин?

– Гурийцы умеют пить, все остальные только делают вид.

Аслан всегда знал что и как сказать. Как-то раз я оказался с Асланом, Ревазом и моими родителями на приеме в доме человека, с которым у Аслана были более чем напряженные отношения. Как всегда, пошли тосты по кругу, каждый должен был сказать о хозяине что-то хорошее. Дошел черед до Аслана. Я внутренне сжался, зная предысторию их отношений. Однако, Аслан и глазом не моргнул.

– Борис Исаакович, – сказал он, – мой учитель по алгебре, и благодаря ему я что-то сделал в математике. Реваз – мой друг, – сказал Аслан, – он гуриец, и благодаря ему я могу выпить ведро вина. Шалва, – и он посмотрел на хозяина, – тоже кое-чему меня научил, и теперь со мной не так-то легко справиться.

Такой вот изящный ход конем – Аслан придумал его легко и естественно. Он вообще был отменным шахматистом, дядя Аслан. Мог выиграть партию, а мог и сделать ничью в выигрышной позиции. Если надо – почему не сделать: тебе приятно, и мне приятно...

Сейчас уже забывается, что времена бывали разные. В 68-м папин ученик Илья Рипс, протестуя против ввода наших танков в Чехословакию, поджег себя в Риге у памятника Свободы. Немедленно в Латвийском университете начался пир мракобесия. Собрали партком университета, чтобы оформить увольнение моего отца. Все было решено заранее, все сидели в зале, молча отбывая номер. Внезапно встал Аслан.

– Я по-русски плохо говорю, – сказал он русско-латышскому партбюро, – но вот такое дело. Профессор Плоткин учил Рипса алгебре – и посмотрите, каким алгебраистом стал Рипс. А кто учил его основам марксизма-ленинизма? – спросил он и посмотрел на ректора

университета Миллера. – Наш ректор, профессор Миллер. И вот вам результат. Так кого будем увольнять???

Однажды Аслан поразил меня до глубины души. Мы возвращались в Батуми после какого-то сабантуя. Аслан был к этому времени ведущим доцентом университета, Реваз – ректором, профессором пединститута, взрослые, солидные люди. Аслан подъехал на своих "Жигулях" вплотную к "Волге" Реваза и сказал:

– Давай тихонько дадим ему в зад!

– Дядя Аслан, да что вы, не надо.

– А у меня амортизаторы японские, новые, а у него нет, давай тихонько дадим, – сказал Аслан.

Я посмотрел на Аслана и понял, что в самом деле – давай дадим "Волге" Реваза немного в зад, нечего ему выпендриваться! Аслан подъехал и тукнул "Волгу", нежно так тукнул, без шрамов, но ощутимо. Реваз выскочил из машины и что-то сказал Аслану по-грузински. Жаль, я не знаю языка. Лишь только дверь за Ревазом захлопнулась, Аслан ухмыльнулся и с довольным лицом взялся за руль.

– Что он сказал? – спросил я.

– Он сказал, сказал, – Аслан надавил на газ, – он сказал, что нечего хвастаться своими амортизаторами.

Мы отъехали, причем, по-моему, Аслан не вел машину руками, а лишь заклинил руль животом и периодически поворачивал голову, глядя на дорогу. Перехватив мой взгляд, он сказал:

– Когда я немного выпью, машина сама знает дорогу домой.

Похоже, машина и в самом деле была дрессированная. На въезде в Батуми нас остановил милиционер. Аслан опустил стекло, просунул нос в амбразуру и резко сказал несколько слов по-грузински, из которых знакомым была только фамилия Хакхутаишвили.

– Батоно Аслан, – начал было гаишник, но мы уже поехали дальше.

– Что вы ему сказали? – как обычно, спросил я Аслана. – Он почуял запах вина?

Аслан сначала не ответил, а потом сказал что-то на таком русском, что я не понял ни слова. Хитрит, ясное дело, хитрит.

– Так все-таки, что?!

Аслан засмеялся, его русский быстро пришел в норму.

– Я ему сказал: отвернись! Он у Реваза учится, зачем ему неприятности.



В Батуми недалеко от проспекта Сталина был роскошный магазин ковров. Не знаю, любил ли усатый вурдалак ковры, но сохранившееся мусульманские традиции аджарское население относилось к ним с большим пиететом. Часть товара была выложена прямо на улице, под жаркое полуденное солнце. Я остановился, залюбовавшись яркими красками и причудливыми узорами. От игры желтых и красных тонов рябило в глазах, линии переплетались, то расходясь, то возвращаясь. Красиво, но чужое, совсем чужое. Впрочем, все смотрелось очень даже органично. Вот если бы эти ковры сделали где-нибудь в Тамбовской области – тогда да, тогда странно. А здесь, под этим солнцем, рядом с этим морем...

Я задумался. Узоры на коврах напомнили мне кобулетские яшмы. Что это – игра воображения? Навязчивая идея? Случайность? Или действительно, в этом что-то есть?

Допустим, что игра воображения. Вполне может быть. Если каждый день по 10 часов кряду искать камни, то запросто появятся маленькие зеленые человечки, все в агатах и халцедонах, а ночью перед закрытыми глазами будут проплывать яшмы под шум прибоя. Утром же сыграет пионерская зорька и труба снова позовет "в забой". Когда внутри все "слишком", тогда всего мало.

Воображение опирается на ассоциации и порождает образы. Была когда-то игра, которая так и называлась – "ассоциация". Что общего между солнцем и мухой? Ответ: квас! Почему квас? Потому что когда солнце, тогда жарко, значит, пить хочется, кваса хочется, ну а где квас, там и мухи. Зыбкая, конечно, связь, но не хуже любой другой. Ассоциации, как и рефлексy, бывают условными и безусловными. Правда, так их никто не называет, но ведь от названия суть дела не меняется. Условные ассоциации – это плод всего нашего жизненного опыта. Например, "жухнет лист, проходит лето, иней серебрится, юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться". Почему хочет застрелиться юнкер? Потому что у него с осенью связаны неприятные ассоциации.



Сложнее с ассоциациями, которые никак не связаны с нашим опытом, а существуют в мире изначально, независимо от нас. Я думаю, что природа через них незримо, но существенно влияет на человеческое творчество. Наверняка никто из мастеров, создававших ковры, не задумывался о цветовой гамме яшм и халцедонов. Однако, человек неосознанно ассоциирует свое творчество с окружающей средой, то имитируя, то приспособливаясь, а иногда – сам того не ведая – копируя ее. Зачастую прямолинейное "что вижу, о том и пою" как нельзя точно отражает суть дела. На заходе рисуем красное, на море синее, а если в Ленинграде – то серое. Хотя механизм этого явления может быть сложным, далеким от простого подражательства.

Как известно, переехав в Прованс, Ван Гог кардинально изменил не только свою палитру, но и манеру письма. И вновь – почему? Конечно, праздничный Прованс нельзя изображать палитрой малых голландцев – получится вранье. Но я думаю, здесь зарыта только половина собаки, если не треть. Суть же в том, что хоть нет в человеке хлорофилла, но все равно энергия солнца преобразуется у художника в энергию мазка и насыщенность красок. Солнце – лишь один из возможных вариантов. Можно также влюбиться, или жениться, или заменить анемичную кашу на мясо, перец, хачапури – в любом случае, то, что выходит изпод рук, изменит цветовую гамму.

Так что с коврами все в порядке, они такие, какими и должны быть в мире, где человек неосознанно в своем творчестве копирует природу. Но может быть, все еще сложнее, может быть, и природа копирует сама себя?

Может быть, не только рисунки на коврах соответствуют рисункам на яшмах, но и рисунок на яшме соответствует пейзажам того места, где эта яшма найдена? А что, если мысль не такая безумная, как кажется на первый взгляд? Сколько я видел уже разных яшм, тысячи! Орские пестроцветные – каких только сюжетов в них не найдешь: лавовые поля, вулканы, тайфуны, реки, но чтобы парча или легкая просвечивающая восточная ткань – никогда. Сухтелинские, калиновские, аушкульские, кушкульдинские, ревневские – у всех своя изюминка, свой сюжет, своя цветовая гамма, но ни в одной из них нет и намека на восточную, изощренную красоту кобулетских яшм. Почему? Потому что они с севера, что ли, а кобулетские с юга?

Не верится, красивая мысль, но не верится. Мало ли кто с Севера, луна там так себе, небольшая луна, да и с рожью сейчас перебои, то дород, то недород... И все-таки, если забыть про науку, про причинно-следственные связи, если забыть про разум и отдаться необъяснимому или непознанному – а что, если в этой ассоциации есть доля истины? Вдруг природа действительно создает свои автопортреты? Вдруг мои поиски яшм – не что иное, как посещение портретной галереи, где один и тот же художник рисует самого себя, варьируя стили, краски, материалы, но никогда не отступая от правды?

Есенин, кстати, никогда не был в Персии. "Шагане ты моя, Шагане" была армянкой, жила в Батуми. Совсем недалеко от этого самого магазина с коврами. Она была молодой учительницей, у нее был сын. Здесь она и познакомилась с Есениным, и все кончилось, как всегда. Но остались "Персидские напевы"...

Мы вернулись домой, в Ригу. Завертелись будни, закрутили каждодневные проблемы. Батумские камни лежали на полке, напоминая о прекрасном времени, в которое всегда хочется вернуться. Случай представился через несколько лет. В руки попала книга, написанная замечательным геологом В.П. Петровым. Он пишет, что прошел все побережье Черного моря от Батуми до румынской границы, и лишь в Кобулети и Коктебеле встречаются родственные по внешнему виду халцедоны. В Планерском громада Карадага с его сердоликовыми и агатовыми жилами нависает над морем. А вот в Кобулети нет вулканов, и хотя речки несут халцедоны, коренного месторождения в Аджарских горах найти ему так и не удалось. Скорее всего, настоящий источник халцедонов Кобулети находится где-то в море. Где-то там вода размывает сердоликовые жилы в древних лавах, дробит все, что может, и выносит на берег. Где именно – неизвестно, может, и совсем недалеко, но близок локоть, да не укусишь. Это и к лучшему, так как море непредсказуемо, и всегда есть шанс, что именно тебе и именно сегодня выпадет удача. Было приятно сознавать, что мои кустарные геологические экскурсии по аджарским пляжам имели смысл. Я не нашел коренное месторождение ввиду его отсутствия, по крайней мере, отсутствия на поверхности земли.

Но кто же все-таки подбрасывал мне халцедоны на пляже партиями по несколько штук? Самый простой ответ: тот же, кто заплетает по ночам лошадиные гривы, взбивает молоко, запутывает следы и вообще, охальничает как может. Этакая минералогическая нечистая сила, грузинский вариант Хозяйки Медной горы.

Но лично мне более симпатичен другой вариант. Дело в том, что зачастую хаос лишь видимость, которая маскирует глубокую внутреннюю структуру. Возьмем, к примеру, движение транспорта в Каире. На первый взгляд – хаос, броуновское движение, но если присмотреться – ничего подобного. Всюду имеются кластеры упорядоченности. Потому и не бьются, не калечатся, а только добродушно переругиваются. Понять здесь логику европейскому человеку – дело гиблое, проще приобрести опыт и радоваться. Так и с агатами.

Главный обман кроется в бескрайности моря и в непредсказуемости ветра. Море, конечно, очень большое, но массы воды движутся по достаточно упорядоченным маршрутам. Ветер, конечно, могуч, но дует он в среднем очень постоянно, иногда сильнее, иногда слабее. Добавим к этому еще течения, рельеф местности и, самое важное, местонахождение халцедоновых жил не на суше, а в море. Окажется, что агаты и должны зачастую появляться семьями в специальных местах, а не быть равномерно рассеянными волной по всему пляжу. Некое количество гальки всегда избегает этого детерминизма и медленно, веками дрейфует вдоль берега. Поэтому и можно встретить абхазскую гальку где-нибудь в районе Зеленого Мыса. Однако минералогической погоды она не делает. Подавляющее большинство камней совершает за жизнь очень небольшое путешествие и выбрасывается на берег сравнительно недалеко от места своего рождения. Домоседы – они домоседы и есть.

Пролетел еще один ощутимый кусок времени. Недавно мы с женой снова были в Батуми. Нет больше безумных погранзон, и Чорох больше не "терра инкогнита". Нет совминовских санаториев в Кобулети, там вообще больше нет никаких санаториев. Но главное – нет больше в Батуми ни дяди Аслана, ни дяди Реваза. Нана, старшая дочь Аслана, стала профессором, специалистом по русскому языку, она подарила нам свою книгу – учебное пособие. Поезд шел из Тбилиси в Батуми, мы с родителями сидели в купе. Мимо проносились ностальгические грузинские пейзажи. На станции Каспи вагон затормозил напротив огромного портрета "отца народов". Сталин висел на стене вокзала и по-хозяйски осматривал мир. Таня, читавшая книгу Наны, вдруг улыбнулась.

– Прочти, – сказала она.

В книге было написано:

*«В тридцатых годах один из театров прогорал. Тогда дирекция выпустила объявление: "Завтра в 19.00 состоится концерт из десяти номеров. Те, кому не понравится десятый номер, могут получить деньги обратно".*

*На следующий день зал был полон людьми, рассчитывающими посмотреть концерт бесплатно. Прошло 9 номеров, вышел конферансье и сказал: "А сейчас хор работников НКВД исполнит "Интернационал"».*

После этого шли задания: укажите причастия, деепричастия, числительные и так далее. Мы рассмеялись. И мне показалось, что Аслан смеется вместе с нами.

## Минводовские раритеты

С Серебровским судьба свела меня на Северном Кавказе. После защиты диплома я приехал в Ессентуки пить воду и есть все протертое и диетическое. Свихнуться от этого лечения не дала протекающая через город река Подкумок. Несколько походов вдоль ее галечных кос и отмелей вышибли напрочь воспоминания о санаторских накрахмаленных шницелях, а найденные желто-красные яшмы вернули веру в светлое будущее. Еще я нашел зеленоватый полупрозрачный камень. На мой взгляд, это была плазма – халцедон, окрашенный в зеленый цвет. Но хотелось знать наверняка, что именно за зверь попался среди речной гальки.

Жара стояла в Ессентуках совершенно дикая. Целебная вода была соленая, как селедка, жажда от нее мучила невыносимо. В один из дней я пошел в город в поисках лимонада и наткнулся на обшарпанный особняк, на котором было написано, что здесь базируется геологическая экспедиция "Северкавказкварцсамоцветы". На крыльце стоял мужик в тельняшке и смачно сплевывал меж двух передних зубов, целясь в типичную курортную вазу с кариатидами в пионерских галстуках и рудиментом какого-то цветка.

– Погода, – сказал он, – жара, как у черта в заднице.

– Да, – сказал я, – жарко. Можно зайти?

– Заходи, – безразлично произнес он и снова сплюнул в вазу.

Внутри здание было не лучше, чем снаружи. Но все-таки внутри пахло образцами, и это резко меняло дело. Дверь в кабинет начальника была приоткрыта. Я зашел и спросил:

– Можно?

– Можно, – ответил он, – раз зашел, значит можно. Ты кто?

– Да я вот, проходил мимо, я вообще-то из санатория, лечусь.

– По тебе заметно, – буркнул хозяин кабинета. Видно было, что жара его достала. – Ты откуда?

– Из Ленинграда, студент.

– Геолог?

– Математик.

– Ты математик? Ну и ну, – только и сказал он. – Давай знакомиться, моя фамилия Серебровский.

– Я Женя, – сказал я, – просто Женя.

– Раз ты Женя, значит, мы тезки. Абрикосов хочешь?

– Хочу.

– Тогда ешь, вон ведро стоит их, полное.

Полное ведро абрикосов я видел впервые в жизни.

– И что, – сказал Серебровский, – какими судьбами?

Я достал свою плазму, положил на стол. Похоже, Серебровский ожидал чего угодно, кроме этого.

– Откуда? – спросил он и стал внимательно разглядывать камень.

– С Подкумка, километрах в шести от города. По-моему, это плазма, цвет скорее всего от дисперсного хлорита. Я правильно определил?

– Так ты математик? – спросил он.

– Да, математик, ленинградский матемех.

– Ну и ну, – снова протянул Серебровский, не переставая изучать камень. – Вот что, – сказал он после некоторой паузы, – не исключено, что там действительно внутри хлорит. Точно сказать не могу. Оставь образец и приходи завтра ко мне домой к четырем – хотя нет, не могу, в четыре у меня контрольная вязка – приходи прямо в парк к пяти.

– Хорошо, – кивнул я. – А что такое контрольная вязка?

– Математик... – повторил Серебровский. – Приходи завтра, поговорим.





На следующий день я захватил найденные в реке камни и отправился на встречу в парк. Августовская жара не спадала, по городу носились смерчки сухой пыли, пешеходы плавали, как сонные мухи, и лишь тополям все было нипочем. Я купил карту-схему Кавказских минеральных вод, надеясь, что Серебровский даст мне привязки для поездок по местным геологическим раритетам. О контрольной вязке я забыл начисто, поскольку не знал, что это такое, и думал, что связывать будут какие-то ящики. Только вот зачем в парке?

Парк был весь серый от пыли. На одной из аллей я заметил Серебровского в компании миловидной женщины лет сорока. Они ходили кругами вокруг клумбы с бюстом Ленина и о чем-то напряженно разговаривали. Ленин внимательно и заинтересованно прислушивался к их разговору. Очевидно, собирался оформить очередные тезисы.

Лицо Серебровского было красным и мокрым от пота. Он размахивал руками и что-то нервно втолковывал своей спутнице, которая, напротив, несмотря на жару, была бледна и сосредоточена. Заметив меня, Серебровский остановился, его лицо исказилось. Он поднял руки крестом вверх, изображая красный свет семафора. "Он что, чокнутый?" – подумал я, но на всякий случай подходить не стал, остановившись метрах в сорока от клумбы. Странно, вчера вроде был совершенно нормальным. Не иначе, как у них семейная разборка.

Внезапно они оба кинулись к боковому проходу на соседнюю лужайку и через минуту извлекли из-под дерева двух упирающихся псов, каждый размером с небольшого теленка. Вид у собак был чрезвычайно расстроенный, но это не шло ни в какое сравнение с видом хозяев. Суть происходящего начинала медленно доходить до меня, и я застыл на месте, как вкопанный. Судя по размерам, лохматый кобель был Серебровского. Периодически он пытался вырваться из рук хозяина, скалил зубы и недобро косил черным глазом на хозяйку своей партнерши. Пасть собаки была все время полуоткрыта, из нее далеко наружу торчал розовый язык.

Нелегкая это работа, да еще на такой жаре, – подумал я, внезапно проникаясь к псу сочувствием. Что они, не могли встретиться где-нибудь на холодке, под вечер – все бы и устроилось. Что это за порода? Волкодав? Водолаз? Сенбернар? Собака Баскервилей? Я сделал шаг по направлению к клумбе, пес напряжился и зарычал. Смысл жестов Серебровского внезапно стал очень доходчивым. Сейчас как рванет – кто его удержит? Отыграется на мне вместо суки...

Между тем, спутница Серебровского достала какие-то деньги. Ничего себе! Оказывается, у собачников это делается не бесплатно. Тогда я понимаю пса. Я думал, он развлекается, а он на работе. Интересно, какова тогда роль Серебровского, меряя человеческими мерками? Сутенер, альфонс, жиголо – это все не то. Хозяин он, просто хозяин. А лучше бы был тренером – подумал я и посмотрел на симпатичную хозяйку водолазики...

Закончив расчет, собачники распрощались, и Серебровский вспомнил обо мне.

– Подходи, – сказал он, – теперь можно.

Мы уселись на скамейку, пес, отдыхая, улегся рядом и задумчиво закатил глаза.

– Вот скотина, – сказал Серебровский ласково, – простое ведь дело, нехитрое, а все мимо.

Говорить сейчас о камнях он был не в состоянии.

– Да, жалко что не получилось.

– Вторая контрольная вязка... И работы-то – пятиминутное дело. Что молчишь? – обратился он к псу. – Виноват?

– Водолаз? – спросил я.

– Кавказская сторожевая, водолазы – они добрые...

– А эти, кавказские?

– Вы думаете, я зря вас не подпускал? – сказал Серебровский. – Порвет и не заметит.

– Красивый пес, – сказал я.

– Красивый, но тупой. Пять лет ему уже, и каждую вторую вязку срывает. Я в его годы...

– В его годы? В пять лет? Завидую.

– Да нет, в пять лет я пешком под стол ходил. Собачьи пять лет – это как 30 человеческих.

– Верно, если жизнь собачья – то год за 6 покажется.

– Жизнь у него – тебе и не снилось. На всем готовом: себе кости, ему – шницель. Силицы у него – море, а трахнуть, когда надо, не может.

– А суку менять не пробовали? Может, эта, сегодняшняя, страшенькая как смертный грех?

– Ты у пса спроси, что ты меня спрашиваешь? Урал, а Урал? Как тебе сука? Нравится? Урал, разомлев на солнце, не реагировал.

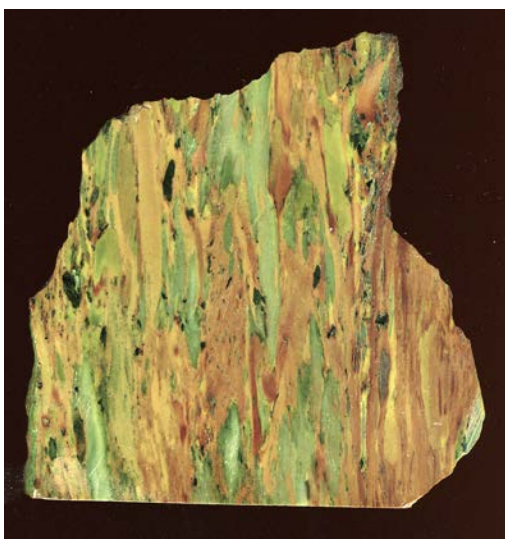
– Впрочем... Ты ее хозяйку видел, – ухмыльнулся Серебровский, – у такой хозяйки и сука что надо. Фригидная немного, но это дело житейское. Нет, не в суке дело. Это все Урал. Я ему сколько раз объяснял: заходи сзади...

– Ну и как?

– А что? Не понимает. Тупой и вялый, как персидский кот, одно слово – породистый.

– Я слышал, что самыми вялыми на свете являются китайские панды, им даже совокупляться лень, спят все время и едят, едят и спят.

– Панды... Может быть, не знаю. Этот в принципе не прочь, просто бестолковый. Предыдущий у меня мог кого угодно и когда угодно, а этому – условия нужны, комфорт, погода...



– Да, сложное это дело, – сказал я. – У нас собаки никогда не было. Я даже не понял, о чем вы вчера мне сказали. Что за вязка такая...

– Математик... – вздохнул Серебровский. – За вязку деньги платят. Ну, давай к камням вернемся, я немного пришел в себя. Образец твой – действительно плазма. Запачкан халцедон, скорее всего, хлоритом, по крайней мере мне так кажется. Надо посмотреть под микроскопом и на хроматографе. Вот, возвращаю половину образца, он раскололся по трещине надвое. Если честно, плазмы в Подкумке до тебя никто не находил. Яшмы бывают, халцедоны серые, агаты пластинчатые. Плазм же еще не видели, так что – спасибо.

– Агаты? В Подкумке есть агаты?

– Да, причем цветные. Выше по течению реки есть проявление. Агат образует дайки в породе, ино-

гда цвета просто уникальные, от коричнево-желтого до фиолетового. Настоящих жеод нет, но пластинки встречаются изумительной красоты.

Было видно, что он завелся, говоря о своем деле. Я тоже почувствовал возбуждение. Лишь Уралу было все до лампочки.

– У меня еще две недели в Ессентуках, – сказал я, доставая карту. – Не дадите привязки, где я могу побродить и поискать камни?

Серебровский на мгновение задумался, потом сказал:

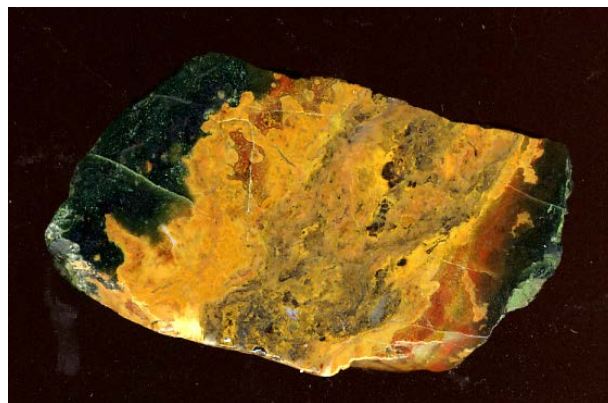
– Ну, хорошо, хотя информация эта конфиденциальная. Это что, карта? – Он взял карту двумя пальцами, как змею. – У меня однокурсница работает в геодезии. Они там уже и сами не знают, где какие искажения на карты накладывают. Враг не пройдет, а свой и подавно. Вот, смотри, на горе Развалка есть алмадины. Качество так себе, трещиноватые, но есть. И на Золотом Кургане – тоже алмадины. Теперь смотри сюда. Что это?

– Гора Машук, – сказал я, – место дуэли Лермонтова.

– Правильно, место дуэли Михаил Юрьевич выбрал не случайно. От него идет грунтовка на триангуляционный знак. Пройдешь метров триста – можно взять вправо, в гору. Увидишь отвалы. Там есть медовый оникс. Кальцит, по сути, но цвет совершенно необыкновенный – мед с янтарем. Да и потом почетно, не откуда-нибудь камень, а с Машука. На Пятигорье не лезь, там зона.

– Пятигорье – это что?

– Это гора Бештау, у нее пять вершин, "беш" пять и означает.



– А почему не лезть, что там за зона?

– Урановый рудник, какие-то руды урана. Радиоактивность кое-где – будь здоров. Ведь откуда-то радон в воде берется? Вот на Бештау и наковыряли шахту. Впрочем, я там не был, и не жалею. Теперь дальше. На Боргустане, в верхнем горизонте, встречается окаменелое дерево, а по дороге на Учкекен листовенит ювелирного качества. И, наконец, около Кисловодска есть коллекционный целестин и халцедон.

– Знаю, – сказал я, – как раз это я знаю, уже находил их там.

– Знаешь? – брови Серебровского удивленно поползли вверх. – Ну ты и шустрый. Откуда?

– Я два года назад уже был в Кисловодске. Моя жена была в санатории, в группе аллергиков из Ленинграда. Впрочем, она тогда еще не была женой.

– Это бывает, – сказал Серебровский. – А бывает и наоборот, – добавил он со знанием дела.

– Я приехал к ней из Грузии. Вы бывали в Грузии? Я ее очень люблю. Там себя чувствуешь по-другому.

– Бывал, конечно, работал там, – сказал Серебровский, – напomini мне позднее, я дам тебе привязку по грузинским агатам. Так что Кисловодск?

– Ну вот. Я туда приехал и обнаружил оздоровительный лагерь строгого режима. С утра они шли вверх на гору делать зарядку. Терренкур, физкультура с видом на город, потом назад в санаторий к завтраку. После – процедуры, отдых, и утром снова на терренкур. К моему приезду они уже доходили до Красного Солнышка. Это – форменный кошмар. Я сходил разок и понял, что спячу раньше, чем поправлю здоровье. Мы стали ездить на все возможные и невозможные экскурсии и в одной из них оказались у Замка Коварства и Любви.

– Красивый ресторан, – сказал Серебровский, – но дорогой.

– Да, мы в нем обмывали покупку обручальных колец. Но это было через несколько недель. А тогда экскурсовод у Замка с придыханием рассказывал местную легенду.

– Про парочку с суицидными наклонностями? – спросил Серебровский.

– Ну да, про князя Аликонова с сердцем, подобным куску ржавого железа – вах-вах, про его дочь Тауку и бедного, но сексапильного чабана.

– Таука – это лошадь у Жюль Верна.

– Лошадь?!

– Да, лошадь, в пампасах, в Аргентине.

– А как же звали горянку?

– По-моему, Даутой звали, в принципе есть здесь такое имя.

– Таука или Даута, в общем, пока рассказывали, как пастух сиганул со скалы вниз, а Даука решила с этим делом повременить, я заметил любопытный карьер.

– Доломитовый?

– Да, доломитовый, и решил после экскурсии к нему вернуться. Но нас повели сначала к гроту Шаляпина. Это в полукилометре от Замка, по руслу Аликоновки.

– Верно, Шаляпин там пел, он вообще – как видел грот, так сразу начинал петь. Рефлекс, наверное. В Крыму есть грот Шаляпина, здесь есть. Ну и что?

– По дороге в грот Шаляпина я, по обыкновению, смотрел под ноги. И вдруг увидел конкреции. Я отстал от всей толпы курортников и разбил одну из них. Под известняковой рубашкой были кристаллики кварца, очень даже неплохие, играли на солнце просто изумительно. Мне стало не до Шаляпина, я бегал и колотил жеоды. Попадались в основном с халцедоном внутри. Но в одной я заметил серо-голубые кристаллы. Очевидно, это был целестин.

– Почему очевидно? Как ты его определил?

– Я же читал в детстве Ферсмана, "Воспоминания о камне".

– Маленькая красная книжка?

– Да, маленькая красная книжка, но не партбилет. Меня заинтересовал рассказ о волжском целестине. Я никак не мог себе представить, что в основе голубых кристаллов целестина лежат скелеты каких-то одноклеточных радиолярий-акантарий. Полез в учебник и обнаружил, что действительно, этим созданиям пришла в голову странная мысль строить свой скелет из сернокислого стронция. Безумие, но результат сногшибательный. И потом, в рассказе у главной героини имя Наэми.

– Наэми, странное имя. Откуда Ферсман его взял...

– Библейское. Только, точнее, не Наэми, а Ноэми. Я это знаю потому, что у отца был учитель, профессор Конторович, который назвал свою дочку Ноэми. Пришел ее регистрировать – дело было в тридцатых, в Свердловске – а там отказались, говорят, что нет такого имени. Есть имена с революционной символикой, например, Марлен – "Маркс-Ленин", или Ленорг – "ленинский организатор", а Ноэми – нет. Конторович не растерялся. Как нет? Вот, пожалуйста: Ноэми – "новая эпоха мирового интернационала"... Короче, целестин я определил сразу. Набрал камней килограммов двадцать, показал остальным курортникам. Сначала они не поверили, что под ногами что-то кроме булыжников может лежать, а когда поняли, целый склон перелопатили. Азартные оказались. Всю лечебницу камнями завалили, и чувствую, пошло это им для здоровья в самую жилу.

– Вот что, – сказал Серебровский, – смотри внимательно на карту. Ты немного не дошел до места. Проходишь Замок, проходишь доломитовый карьер, грот Шаляпина. Идешь дальше вверх по течению Аликоновки. Будет гравийный карьер. В нем и ищи. И вокруг него. Там можно найти целестины музейного качества, по-настоящему голубые. Только вынимай их аккуратно – хрупкие, и от света береги.

– Знаю, – сказал я, – знаю, что выцветают на открытом воздухе и на прямом солнце. Читал об этом, да и мой целестин поблек. Жалко, цвет у него был божественный.

– Цвет небесный, синий цвет... – вдруг сказал Серебровский.

– Откуда вы знаете? Полюбил я с юных лет. С детства он мне означал синеву иных начал... Николоз Бараташвили. Вы любите Пастернака? Это ведь его перевод.

– Я же геолог, – сказал Серебровский, – значит, немного бренчу на гитаре. И не с юных, а с малых лет. Это песня Никитина.

– Я слышал, совсем новая песня, года три ей от силы. К целестину она подходит.

– Конечно, подходит, целестин и переводится с латыни как "небесный". Считается, что он очень хорош для женщин, переживших любовную драму, и для тех, кто не в ладу с самим собой. По-моему, тогда всем поголовно он в масть. А я бы носить не стал. Стронций все-таки. Вот вроде бы и все привязки, – сказал он.

– А Грузия? Вы упомянули, что в Грузии знаете привязку на агаты.

– Ах да, забыл, пиши. Река Тедзами, недалеко от Носте. Там не месторождение, а сказка. Агат кондиционный, не трещиноватый, не чета тиманскому. Жеоды продолговатые, до 15 сантиметров или и того больше. Аметист внутри жеод – дело обычное, опять-таки цвет у него насыщенный. Там партия стояла семь лет назад. Взяли много, но еще осталось достаточно. Если будет возможность туда смотаться – рекомендую.

Я забрал у Серебровского карту с пометками месторождений. Приближался вечер, длинные тени легли на землю и, как всегда на юге, дневное тепло превратилось в ночное благоухание. Мы сидели, расслабившись, и молчали. Урал спал.

Неожиданно Серебровский спросил:

– Ты читал Мозма?

– Да, конечно, мне он очень нравится. "Театр", "Время страстей человеческих".

– Нет, я не о том, – сказал он. – Ты читал его рассказы? Помнишь рассказ про жемчуг?

– Конечно, помню, он есть в сборнике "Дождь", называется "Мистер Всезнайка". Дело происходит на корабле. Специалист по жемчугу видит на женщине жемчужное ожерелье и заключает при ее муже пари на сто долларов, что оно стоит двадцать тысяч или что-то в этом роде.

– Вот именно. А муж говорит – 18 долларов. Специалист осматривает ожерелье, а потом вдруг замечает глаза женщины. И отдает сто проигранных долларов.

– А потом получает их от нее обратно в конверте, просунутом под дверь? Кажется, так?

– Да-да, именно так. В конверте, под дверь. Кстати, – сказал он, – недавно у меня была похожая история.

– Вы были "Мистер Всезнайка"?

– Что-то в этом роде. Конечно, я могу определить на глаз большинство драгоценных камней. Но не всегда их носят красивые женщины. А тут был я в одной компании... Знаешь что, давай так договоримся. За день-другой до своего отъезда зайди ко мне на работу. Я тебе доскажу историю и отдам результаты по твоему камню. А ты расскажешь, что нашел. Может, мы тебя на работу зачислим, вне штата... Сейчас уже поздно, пора разбежаться.

Так мы и договорились. Серебровский разбудил Урала.

– Устал, мордастая твоя рожа, – сказал он псу не слишком осмысленную фразу.

Но тот вроде понял и встал, пошатываясь. "До чего же он все-таки огромный", – подумал я.

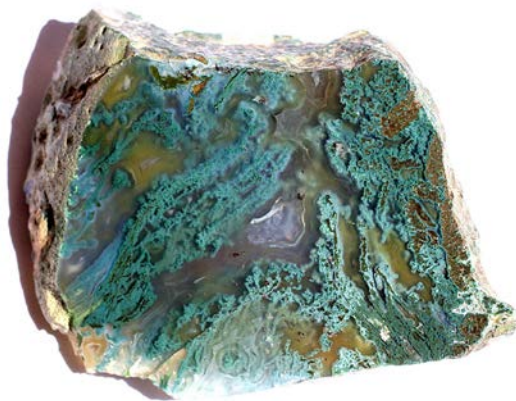
– Пошли, – сказал Серебровский, – нас ждут. А я тебя жду через две недели, рассказ за мной.

Через несколько дней после встречи с Серебровским я взял рюкзак и поехал в Пятигорск, к месту дуэли Лермонтова, на Машук. Лермонтова как поэта я боготворил, но что там говорить – человеком он был вздорным и резким. Вся история с его дуэлью была мне неприятна с самого начала. Герой же нашего времени проделал дырку в голове еще в школьные годы, и эта рана не зажила до сих пор.

К моему удивлению, выходы медового оникса нашлись довольно быстро. Он действительно имел неповторимый цвет. В верхнем горизонте встречались похожие на мармелад лимонно-желтые разности. В нижнем ярусе я наткнулся на жилу почти бордового кальцита со светло-коричневым линейчатым рисунком. Буквально за полчаса рюкзак наполнился хорошими образцами. Я присел на камень и неожиданно увидел осыпь, всю состоящую из кальцитовых обломков. Охваченный азартом, я потянулся за одним из камней – и тут большая змея проползла по ладони, коснувшись поочередно всех пальцев. Что было потом, помню неотчетливо – очевидно, я телепортировался... Во всяком случае, через несколько секунд обнаружил себя сидящим метрах в десяти ниже по склону, а еще через мгновение тяжелый рюкзак со всеми образцами приземлился мне на голову. Это были нокаут и контузия одновременно.



Звезды из глаз возвратились на небо, на их месте материализовалась очередная собака. "Неужели снова Урал, – подумал я, – неужели опять вязка?" Пес два раза отрывисто рывкнул – как выстрелил – и застыл, принохиваясь. Ничего общего с Уралом он не имел и, судя по всему, мог повязать кого угодно без всяких проблем. Моя голова все еще гудела и почему-то ритмично позвякивала. На склоне появились две флегматичные овцы с колокольчиками. Отара! Отсюда и пес, и звон. Я встал, отряхиваясь, и увидел молодого чабана. Это был добрый знак, чабаны всегда к удаче. Судя по антуражу, чабан здесь пас овец еще с лермонтовских времен. Он пронзительно свистнул, призывая собаку. На меня он едва взглянул, отвернулся и пошел вверх по склону. За ним побежала собака, за ней, пожеывая, поплелись овцы. Я поднял рюкзак с образцами и осторожно, чтобы не наступить на змею, поплелся в противоположную сторону, к автобусу.



Много позже я встретил другого чабана возле армянского села Севкар. Недалеко от этого села находится бентонитовый карьер, в котором среди непроизносимых монтмориллонитовых глин находят знаменитые моховые агаты. Когда я оказался там впервые, то решил, что вот он – рай, или, по крайней мере, его земное воплощение. Но граница между адом и раем так зыбка... Во время последнего визита

на карьер мы застали картину полного разорения. Война. Несколько солдат грели руки около самодельной печки. Один из них спросил – куда? За агатами, хотим посмотреть агаты по карьеру. "На гребень не выходите, – сказал солдат, – опасно, все еще могут быть снайперы". Шел проливной дождь, оттеняя общее настроение. В этот момент из-за поворота появился пастух в компании неизменных овец и собак. Кутаясь в потертый пиджак и плащ "большую", он спросил:

- За камнями?
- За камнями.
- Откуда?
- Из Израиля.

Мы разговорились. Пастух оказался сельским учителем. В деревнях сейчас нет денег, живут натуральным хозяйством. Овцы плодятся хорошо, пастухов не хватает, вот все и работают ими попеременно.

– Я бы вас раньше обязательно пригласил, – сказал пастух, – шашлык, зелень. А сейчас такое время... – вздохнул и добавил: – Другое время. Вот, возьмите, – и он протянул несколько агатов, – возьмите, хорошие. В следующий раз будет лучше.

Выждав денек, пока пройдет стресс от встречи со змеей на Машуке, я поехал за целестинами к Замку Коварства и Любви. Вот уже появился знакомый силуэт ущелья Аликоновки, виднелись башни ресторана и оскал карьера. Мало что изменилось за три года, разве что тогда был поздний сентябрь, а сейчас лето в разгаре. Я вспомнил то, о чем не успел рассказать в парке Серебровскому.

Когда я показал найденные около грота Шаляпина камни отдыхающим, началась настоящая "алмазная лихорадка". Каждый набрал камней и повез их в санаторий рассматривать. Я же сложил еще не расколотые жеоды в две кучи под кустом на склоне холма и решил обязательно за ними вернуться. Через две недели спрятанных камней на месте не оказалось. Моему разочарованию не было предела. Наверняка камни стащили, и наверняка самые лучшие образцы были именно там. Тем не менее, мы решили для верности прочесть склон, и минут через десять поисков наткнулись на хорошую жеоду. Я поднял голову и увидел метрах в двадцати большой куст, из-под которого вытекала осыпь из отличных целестинов. Все встало на свои места. Прошли дожди, склон размыло, камни сползли вниз и там дожидались, пока за ними придут.

По ущелью стелился густой туман, мы шли вдоль устья реки – и вдруг услышали цоканье копыт. "Чок-чок" приближалось неотвратимо. Из тумана показались две папахи и контуры бурок под ними. И больше ничего. Две головы без всадников выплыли навстречу с неторопливостью и достоинством пятисотлетних привидений. Гор не было видно, но слышна была Аликоновка, да журчал источник где-то рядом. Всадники остановились, один из них достал бурдюк и спешился, направляясь к воде. Мы застыли как вкопанные, потом подошли ближе и поздоровались.

– Это нарзан? – спросил я.

– Да, это нарзан, а то, что в Кисловодске – это не нарзан. Много не пейте, но стакан другой – нужно.

Тут он увидел наши камни.

– Что это, – спросил он, – камни?

– Да, камни, красивые, халцедоны, кварц – взгляните.

Человек повертел в руках одну из жеод.

– Дальше по ущелью их много. Но вы одни не ходите, – сказал он и вскочил на коня.

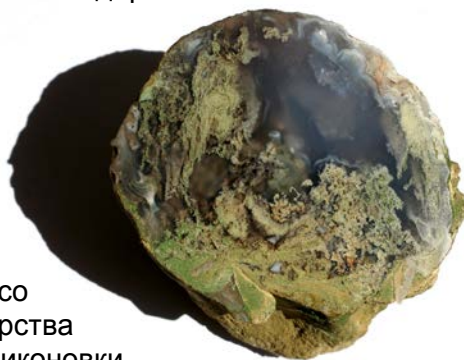
Второй всадник за все это время ни проронил не слова.

– Счастливо, – сказал тот, что наполнял бурдюк, и добавил: – Отсюда до замка с километр, темнеет уже, пора вам.

Они тронулись с места и исчезли в тумане: сначала лошади, потом бурки, потом папахи. Осталось лишь "чок-чок", но и оно растворилось через несколько минут.

В Замке Коварства и Любви жизнь била ключом. Мы заказали два шашлыка по-карски и стали разбирать камни. Официант смотрел на это дикими глазами. Но мне было плевать. Как сейчас помню, оркестр играл "Созрели вишни в саду у дяди Вани".

В этот раз день был яркий, и ущелье Аликоновки искрилось светом. На гравийном карьере не было ни души, я достал молоток и стал лазить по отвалам. Но там не было ничего примечательного. Чуть выше по ущелью шла искусственная терраса с какими-то деревьями. Я полез к ней и почти сразу наткнулся на выход известняка с большой полостью. Она вся была устлана целестином. Но камень был серый, покрытый известковым налетом. Тем не менее, сомнений в том, что это целестин, не было никаких. Я достал спички, отколупал десяток призматических кристалликов и попробовал поджечь. В принципе, целестин окрашивает пламя в красный цвет. Эта особенность стронция используется в пиротехнике или, того круче, при производстве трассирующих пуль. Но мои кристаллики были защищены известью



и гореть не желали, сколько я ни дул на пламя, изображая мехи и горелку одновременно. Тогда я попробовал почувствовать, где еще прячутся жеоды с целестином. Закрыв глаза и прислушался - этот ненаучный метод работает, когда ничто не отвлекает и нервы не напряжены. Открыв глаза, явственно увидел зону контакта известняка с чем-то вроде ангидрита. Минуту назад ее не было, а сейчас контакт появился. Мистика. Если есть контакт, то должны быть и жеоды. Я уже не сомневался, что найду нетронутые кристаллы. Так и вышло, через несколько часов рюкзак был заполнен. Я присел отдохнуть под деревом и над головой среди листвы увидел абрикос. Для северного человека абрикосы не росли на деревьях, они продавались на базарах и стоили рубль кулек. Живой абрикос на живом абрикосовом дереве – это был культурный шок. Домой возвращаться не хотелось, я решил, что пока не съюю все недietetические плоды вместе с недietetическими микробами, отсюда не уйду. А там будь что будет, разберемся.

Вернувшись, я выжидал несколько дней, а потом позвонил Серебровскому. Он взял трубку и виновато сказал, что встретиться не получится, поскольку он уезжает в экспедицию и дел перед поездкой невпроворот. Может быть, я смогу позвонить ему через пару месяцев из Ленинграда, тогда он мне все подробно расскажет о моем зеленом халцедоне.

– Хорошо, конечно позвоню, – сказал я, – обязательно позвоню, мне не к спеху. Но вы обещали рассказать историю, похожую на ту, что описал Моэм.

– А-а-а, – сказал Серебровский, – в самом деле, обещал. Это надо рассказывать вживую, не по телефону. Встретимся ненадолго в том же месте, в парке, я буду без Урала, хватит уже его выкрутасов.

Мы снова встретились в парке. Похоже, Серебровский действительно спешил, так как начал рассказывать без вступления.

– Так вот, о советском варианте Моэма, – сказал он, – история такая. Я был недавно в Москве, в один из вечеров оказался в малознакомой компании. Никто не знал, что я геолог. Там была пара, она – яркая женщина, вся в украшениях, он – замухрышка замухрышкой, но, видно, при деньгах. Ее звали Ира, его – Игорь, или, как она его называла, Игорек. Выпили, стали рассказывать разные московские байки. Ну, ты, наверное, бывал в похожих домах в Москве?

– Бывал, – сказал я, – кто с кем, где и сколько раз, и так без перерыва весь вечер.

– Да, примерно, но там был в основном литературный народ, так что разговор крутился вокруг сплетен в этом кругу. Я чувствовал себя чужим на празднике столичной жизни и был не в своей тарелке. Постепенно нарастало раздражение – все-таки отвык я от снобизма. Терпел-терпел, а потом рассказал, как однажды в горах увидел летающую тарелку.

– Вы ее в самом деле видели? – спросил я.

– Не знаю, – ответил Серебровский, – может, и видел, но скорее – нет, не уверен, день был тогда тяжелый, к вечеру до привала добрались, на костре чай заварили.

– Зачифирили?

– Более или менее. Заварили мы его крепко, но не помогло. А я был начальником партии, посмотрел на рабочих – и открыл заначку спирта. Выпили, и как раз чифирь подействовал. Короче, может это и была тарелка, а может быть, вояки с полигона какую-нибудь гадость запустили – не знаю. Что-то было, но что точно – не помню. Тем не менее, когда в Москве в компании они меня своими рассказами достали, я все в красках и выложил – про тарелку, про встречу с йети, про заброшенные мазары в горах.

– Что, и йети тоже? Не многовато ли?

– Не было никакого йети, – твердо сказал Серебровский, – но они меня сильно завели своей болтовней. Кстати, несколько раз бывало в горах страшно, и фантазия работала – шаги в ночи слышались, голоса, обычное дело. Снежного человека не видел и надеюсь, что и не увижу, мне своих отморозков хватает. Да, так о чем это я?

– Вы говорили, что стали им рассказывать байки из геологической жизни и дошли до летающей тарелки.

– Да, именно. Все слушали меня, как зачарованные, а та женщина, что в украшениях, Ира – действительно красивая, между прочим – та вообще глаз не отводила. "А вы не испугались?" – сказала она с придыханием. Я уже раздул щеки, как выступил ее муж- замухрышка. "В Перми этих тарелок полным-полно, – сказал он, – у них там нечто вроде гнездовья. Все об этом знают, но все жутко засекречено. Мне один знакомый рассказывал... – и он многозначительно обвел взглядом присутствующих, – ну, в общем, друг детства, он сказал, что

там, на Урале, жуткие вещи творятся". Но Ира его не слушала. "Женя, так вы геолог, – сказала она, – как интересно. А вы находили драгоценные камни?" "Драгоценные камни – моя специальность, – сказал я. – Пожалуй, находил все основные виды, за исключением алмазов". Внимание компании снова вернулось ко мне. "Все-все?" – спросил один из гостей. "Знаете, – продолжил он, – я был недавно в Синей Птице, там был Володя, он вернулся из Индии, сказал, что привез для своей подруги такое, чего нет ни у кого в Москве". Я не стал спрашивать, кто этот Володя, побоялся идиотом показаться, но про Метерлинка спросил. "Нет, пьеса тут ни при чем, – сказал мой собеседник, – Синяя Птица – это кафе литературное, там все собираются, и граунд, и андеграунд, надо вам его обязательно посетить". – "Договорились, – сказал я, – а что все-таки он привез из Индии, что за диковинку?" – "Кольцо, женское кольцо с необыкновенным оранжево-красным камнем, он называется мандарин-гранат, вы слышали о нем?" – "Да, слышал, – сказал я, – это действительно редкий камень, разновидность спессартина, его добывают не в Индии, а в Намибии, так что, скорее всего, Володю – кстати, а кто это? – обманули". Все разговоры стихли, все смотрели на меня, а женщины просто пожирали глазами. Они не заметили даже моего выпада по поводу Володи. "Скорее всего, это индийский гессонит, его еще называют камнем специй. Тоже, кстати, редкий в Союзе камень, редчайший, у индусов он символизирует божество восходящей Луны. Впрочем, это может быть и гиацинт – прекрасный камень, но это драгоценный оранжевый циркон, а совсем не гранат". – "Постойте-постойте, – сказала Ира, – гиацинт – это цветок, сине-фиолетовый, пахнет чудесно. А вы сказали, что гиацинт оранжевый". – "Верно, цветок синий, а камень – оранжевый. Вообще-то Гиацинт был, кажется, царем Спарты, атлетическим молодым человеком. Какой-то из древних греков дал оранжевому камню название голубого цветка, очевидно, перепутал". Наступила пауза, вошла хозяйка дома и спросила: "Кофе, чай?"



Этот вопрос меня несколько озадачил, потому что требовал переключения и мысленных усилий, а я был весь внутри разговора. Появление торта и домашнего варенья окончательно разрядило атмосферу. Все разбилось на группы, и из одной из них донеслось: "Гиацинт, ну конечно, он был любовником Аполлона". Люди были образованные и, в общем, неплохие, просто слишком долго прожили в Москве. Ко мне подседа Ира: "Женя, а вы смогли бы определить мандарин-гранат в изделии? Или, скажем, на человеке?" Что-то мне в этом вопросе не понравилось, и я помедлил с ответом, хотя твердо знал, что определить без специальных методов редкий вид спессартина трудно, а определить, что это не мандарин-гранат, как правило, не сложно. "Ну, наверное, смог бы, – начал я, – не на сто процентов, но на девяносто девять смог бы определенно". – "Отлично, – сказала она, – Женя не был в Синей Птице, мы должны его туда сводить, не так ли, Игорек?" По-моему, Игорь готов был сожрать меня без соли и перца. Но он проявил выучку: "Да, конечно, завтра же и сходим, какие проблемы". Ира мило улыбнулась и сказала: "Я вам туда кое-что принесу".

Я слушал историю Серебровского, затаив дыхание, гадая, кто же окажется любовником Иры и где именно возникнут хотя бы сто рублей.

– Меньше всего мне хотелось в Москве заниматься специальной литературой по камням, – сказал Серебровский, – но пришлось. Пошел в библиотеку, посмотрел литературу по гранатам, подозревая, что скоро увижу первый в своей жизни мандарин-гранат. Надо сказать, что "Синяя Птица" мне понравилась. Внутри ничего не видно и не слышно, но тонус заведения был замечательный. Ира появилась в совершенно других висюльках, которые уютно покоились на ее роскошной шее, переходящей в не менее роскошную грудь. Замухрышка был не более любезен, чем вчера, но платил. "Так вы в самом деле можете определять камни? – сказала Ира. – Я не хотела вчера, много народу, но мне все-таки очень интересно". – "Да, я помню, мандарин-гранат, – сказал я, – неужели это Игорь привез вам его из Индии?" Игорь сидел с непроницаемым лицом и жевал соломинку от коктейля. "Нет, конечно нет, – сказала Ира, – он купил мне здесь очень дорогое украшение. Просто повезло, потому что



оно стоит безумно дорого, но так получилось, что его привезли из-за границы, срочно нужны были деньги, Игорь узнал о нем, а он меня очень любит", – Ира на секунду прервала этот поток сознания очаровательной улыбкой. "Вот он и купил его. Дорого, "Волга" практически, но все же Игорь может себе это позволить. Я вам покажу". – "Не здесь, – сказал я, – камни не смотрят в полутьме". Игорь расплатился, и мы втроем вышли на улицу, выбрали скамейку, сели. Ира достала темный бархатный футляр и сказала: "Вот, посмотрите какие изумруды, Колумбия". Я открыл с коробку и с первого взгляда понял, что это не изумруды. Не тот блеск, не та игра. Но камни были хорошими. Может быть, это хромдиопсид, или гроссуляр, или какой-то отогретый перидот. Но не изумруд и не "Волга". Половинка "Жигулей" – может быть, но не "Волга". Я открыл рот – и закрыл его, потому что увидел коротышку. Лицо было видно плохо, но глаза говорили четко и ясно – попробуй только пискни! От бомонда не осталось и следов, никаких сантиментов и разговоров о возвышенном. Прибьет или отправит в то место, где его друг детства работает. Интересно, откуда у него вообще деньги и откуда камни? Я несколько раз осмотрел украшение. "Отличная вещь, изумруды высшего класса, вам действительно повезло". Ира сияла. "Спасибо, – сказала она, – я так и думала, просто решила узнать ваше мнение, раз уж мы встретились. Я очень рада знакомству, в следующий раз, когда будете в Москве, никаких гостиниц, остановитесь у нас. Вдруг Игорек мне еще что-нибудь купит, а вы определите". Она рассмеялась, я поцеловал ее в щеку, пожал Игорю руку, и мы разошлись.

– А дальше? – спросил я.

– Что – дальше? Что ты хочешь услышать еще?

– Ну, как же! А где сто рублей под дверью?

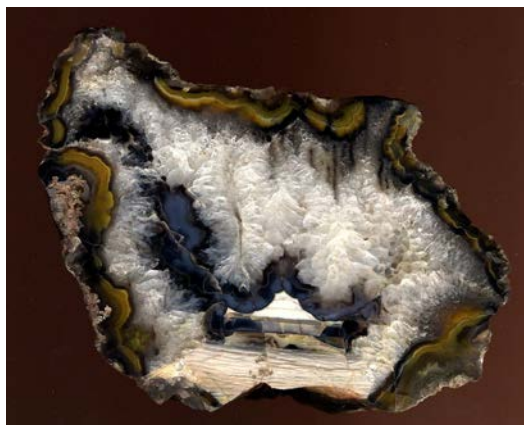
– Ах, это! – Серебровский рассмеялся. – Действительно, у Мозма были сто долларов. Но это же советский вариант. Я вернулся в гостиницу. Утром зазвонил телефон. Это был замухрышка, Игорь. "Вы, в самом деле, хороший геолог, – сказал он, – вчера вы определили совершенно верно". "Что вы имеете в виду?" "Действительно, это не изумруды. Но не только это. Вы верно определили, что надо было сказать. Иначе... Так что спасибо", – сказал он и повесил трубку.

– И все?

– Конечно, все, – сказал Серебровский, – это же не Англия и не Моэм, здесь жизнь другая. Пожалуй, в Москве в следующий раз все же в гостинице переночую, желательно под чужим именем. Ну, я пошел, – сказал Серебровский, – историю я рассказал, о твоём камне мы договорились, звони из Питера.

И мы расстались. Я звонил ему из Ленинграда, но безуспешно. Еще долгое время я хранил телефон Серебровского, но потом и он сгинул в одной из утраченных записных книжек. Последним связующим звеном осталась половинка зеленовато-голубого халцедона с Подкумка.

Но минводовские целестины напомнили о себе еще один раз. Мне попала в руки одна из многочисленных книжек А.Е. Ферсмана. На одной из страниц он пишет примерно следующее: "В тридцатых годах я отдыхал в Железноводске. В один из дней нас повезли на экскурсию в грот Шаляпина к Замку Коварства и Любви. Я шел к гроту и обратил внимание на жеоды. Расколов одну из них, я обнаружил целестин. Вскоре весь дом отдыха был охвачен каменной лихорадкой..."



## Пьетра паесина

Ассизи. Город Святого Франциска, город Джотто, город переплетения домов, дворцов, церквей, город, впаянный в синеву итальянского неба. Доминанта огромного собора и зелень окружающих холмов. Мы бредем по улицам, потрясенные и вдохновленные. Вдруг я замечаю камни, выставленные в небольшой витрине. Заходим в невысокую дверь, осматриваемся, а дальше все происходит мгновенно и по-чувственному остро. Я увидел чудо. На стене висела картина, которой не может быть. Пейзаж тосканского или умбрийского города, созданный определенно не человеческой рукой и нечеловеческой душой.

Это была первая в моей жизни встреча с загадочным камнем, с итальянской пьетрой паесиной.



С тех пор красота и магия пьетры паесины всегда со мной. Наваждение первой встречи не прошло, не нивелировалось, оно лишь перешло в ипостась любви и постоянного ожидания нового свидания.

Идея найти самому прекрасный флорентийский мрамор возникла с первого взгляда. Со временем страстное желание найти заменилось страстным желанием купить. Так в жизни зачастую бывает.

Этот камень приобретен в галерее *Claude Boullé, Rue Jacob 28*, в Париже. Пожалуй, больше нигде в мире, даже в Италии, не встретить таких великолепных образцов. Морские пейзажи захватывают дух, очаровывают, заставляют чувствовать гармонию. Я купил одну паесину, был совершенно счастлив и не спеша разглядывал всю выставленную коллекцию. В это время в галерею зашел американец. Взглянув сначала бегло на камни, он в дальнейшем уже не мог от них оторваться. Достал, не особенно напрягаясь, шесть-семь сотен евро и попросил завернуть ему пяток паесин. Для начала. «Откуда вы?» – спросил я его. «О-о-оо, – он широко улыбнулся, – я из Монтаны». «А-а-а», – ответил я. Американец оказался с чувством юмора. «Бывает», – ответил он.



Справедливости ради следует сказать, что найти совершенный образец пьетры паесины – задача задач. Надо обладать особым зрением, так как прожилки включений уходят вглубь известняка, а уж какой пейзаж они образуют внутри – известно лишь допущенным к особому знанию. Кстати, в масонской ложе знатоков пейзажного мрамора есть настоящие магистры, они знают все, но их знают немногие. Метр *Claude Boullé*, хозяин галереи на *Rue Jacob* – один из главных авторитетов в этой области. Будучи минералогом по образованию и поэтом по сути, он нашел свое призвание в изучении пейзажного камня. Пьетра паесина стала его «прекрасной дамой» и делом всей жизни.

Пьетру паесину испокон веков добывали в тайных каменоломнях в районе Флоренции, хотя отдельные находки случались и по берегам быстрой реки Арно, и на окрестных виноградниках и полях. Тем не менее, лучшие проявления пейзажного камня всегда были секре-

том. Действительно, в достойном семействе пейзажных камней итальянская пьетра паесина является настоящим аристократом. Как и положено древнему роду, ее история окутана множеством легенд и преданий.

Само название камня менялось в разные века, и сейчас трудно сказать, какое из них употреблялось наиболее часто. Флорентийский камень, флорентийский мрамор, руинный мрамор, ландшафтный мрамор, мармо паесина, тосканский мрамор – вот неполный список использовавшихся имен. Словосочетание «пьетра паесина» близко по смыслу русскому «пейзажный камень», поскольку слово «паесина» созвучно «*paesaggio*» – то есть «пейзажу» на итальянском.

По-видимому, еще Плиний Старший упоминал пьетру паесину под названием понтийского драгоценного камня. Что имел в виду Плиний, сказать трудно, но писал он о минералах, на которых видны «картины гор и долин».

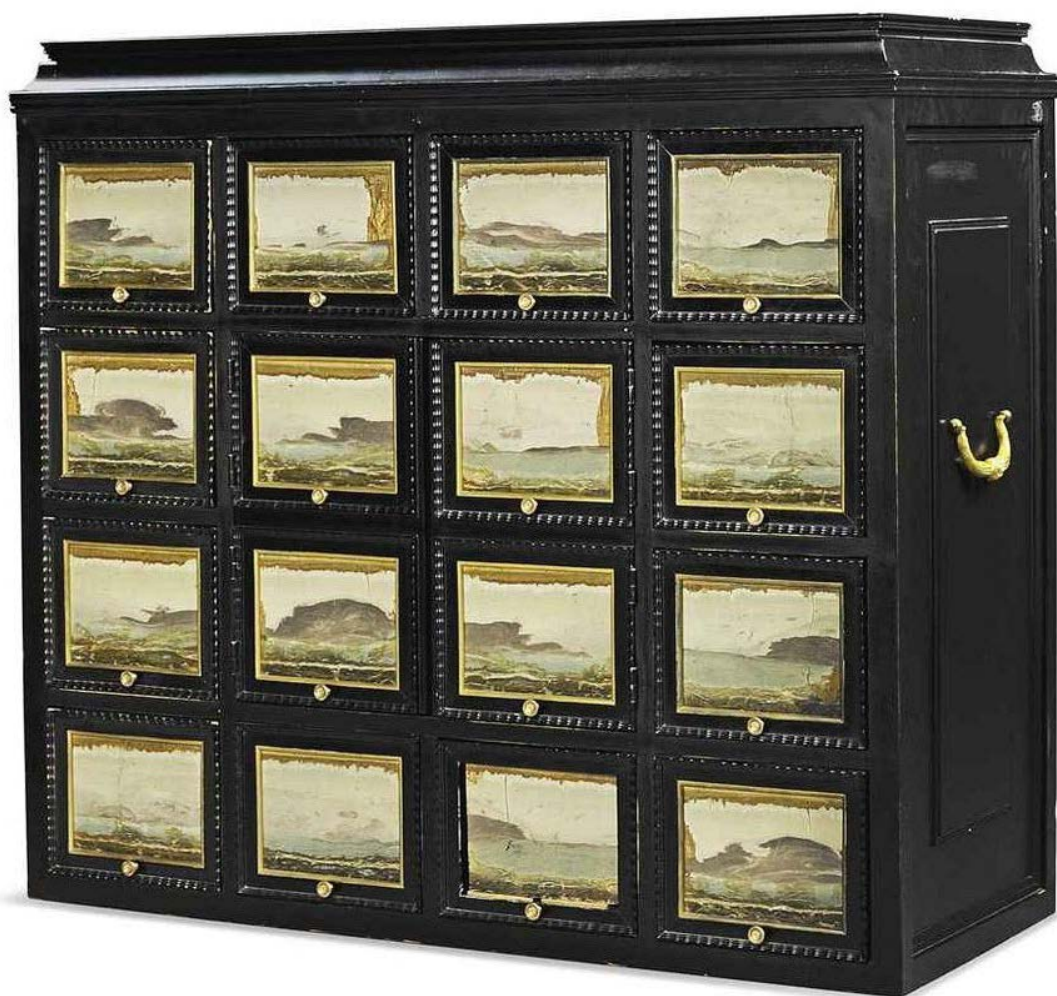
Во времена Возрождения семейство Медичи внесло огромный вклад в развитие художественной традиции. Рассказывают об одном пастухе из под Фьезоле, который наткнулся в лесу на наибольшую пещерку, скорее выемку в скале. Ниши такого рода обычны в известковых холмах Тосканы. Укрывшись от дождя он заметил, что мокрые обломки камня покрыты синеватыми узорами. С тех пор он стал носить в деревню камни и сваливать около своего дома. Так продолжалось каждый день. А однажды он ушел в город, во Флоренцию. Затем появились люди в черных камзолах и забрали камни. Их свезли к дворцу Медичи, распилили, и сам Козимо Медичи пожелал увидеть то, о чем рассказал пастух. Так возникла флорентийская мозаика. Конечно, это лишь одна из тосканских легенд, но становление флорентийской мозаики действительно тесно связано с заказами Медичи на использование пьетры паесины в интерьерах Уффици. Камень использовали также как фон для фресок и картин, ему посвящали стихи и сонеты. Место находок лучших сортов хранилось в строжайшей тайне, которая передавалась из поколения в поколение.

Долгие годы Медичи держали монополию на создание и использование изделий из пьетры паесины. Получались настоящие шедевры, предназначенные исключительно для нужд герцогской семьи. Первым был Козимо Медичи, а затем пошло-поехало. Медичи было много, и, честно говоря, в них легко запутаться. То, что мы сейчас любим уникальными творениями мастеров флорентийской мозаики – заслуга Фердинандо I де Медичи, который в конце 16-го века основал во Флоренции знаменитое «*Opificio delle Pietre Dure*» для поисков, изучения и производства изделий из полудрагоценных камней. Вот эта контора как раз и занялась исследованием прилегающих к Флоренции холмов. Теперь «*Opificio delle Pietre Dure*» имеет свой музей. Другие раритеты находятся в галерее Питти, в церкви Санта-Мария-Новелла, в Палаццо Веккьо, в кафедральном соборе Сиены, в Пьенце и так далее. Прекрасная Италия... что сказать, туда хочется и хочется возвращаться.

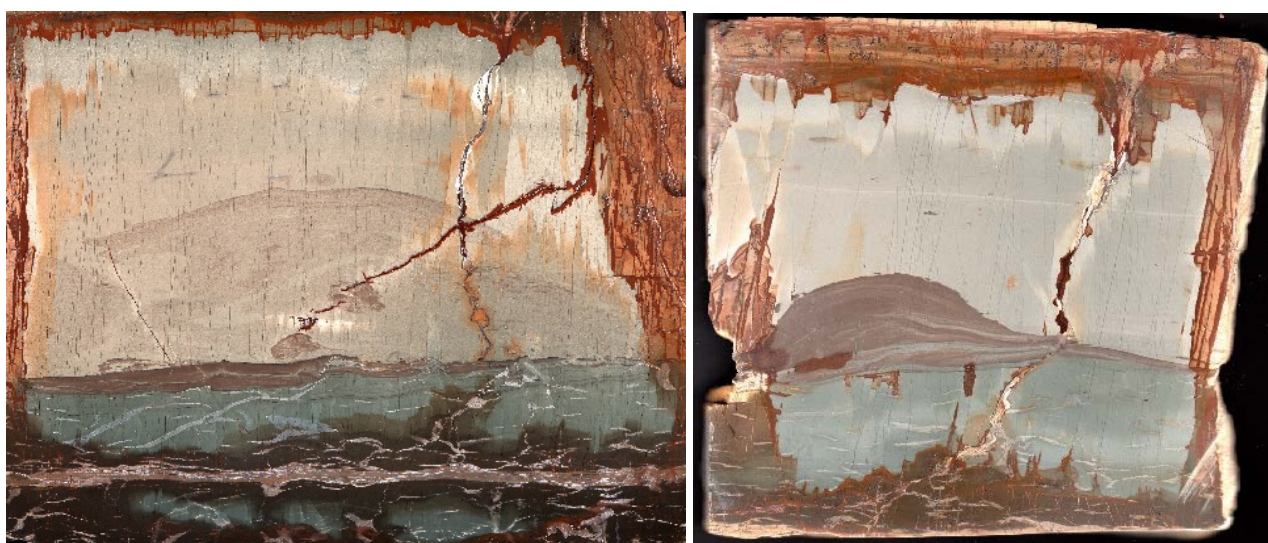
Постепенно в 17-18 веках слава итальянской паесины дошла до королевских дворов всей Европы. Ее стало модно покупать, и лучшие образцы стоили существенных денег. Среди тех, кто приобретал изделия тосканских мастеров, были представители баварской, шведской, французской королевских фамилий. Конечно же, с детства знакомые кардиналы Ришелье и Мазарини не прошли мимо всеобщего увлечения. Их стараниями во Франции появились резчики и мастера по работе с паесиной. Однако всегда столицей пейзажного камня оставалась Флоренция.

Начиная с 17 века, пьетра паесина стала использоваться для декора исключительно популярных в то время «кабинетов редкостей». Появление кабинетов связано со страстью Ренессанса к познанию окружающего мира. Это были такие шкафы или какие-то шкафоподобные конструкции с ящичками, в которых хранилось все интересное: камни, семена и листья растений, археологические находки, останки животных – все, что может прийти в любопытную голову со средствами и связями. Впоследствии на базе всех этих «Кунсткамер» появились серьезные систематические музеи.

Кабинеты, как правило, богато декорировались. До сих пор эту мебель с непревзойденными по качеству, подбору и красоте паесинами можно увидеть в некоторых коллекциях. Раньше все было лучше, гласит народная мудрость – и деревья были высокими, и мороженое слаще, и камни были такими, каких сейчас не найти и не купить. Так ли это или иначе, верьте или не верьте, но действительно – паесины, найденные в средние века, имеют особую притягательность.



По существу, пьетра паесина понятие скорее эстетическое, чем минералогическое. Оно характеризуется особыми пейзажами, проступающими на полированном мраморизированном известняке. Имеется несколько типичных видов картин. Морской сюжет в нежных палево-зелено-синих тонах, в коричневатом обрамлении – один из моих самых любимых. Скажем, безмянный залив где-то на юге Италии, ленивый теплый день, сиеста...



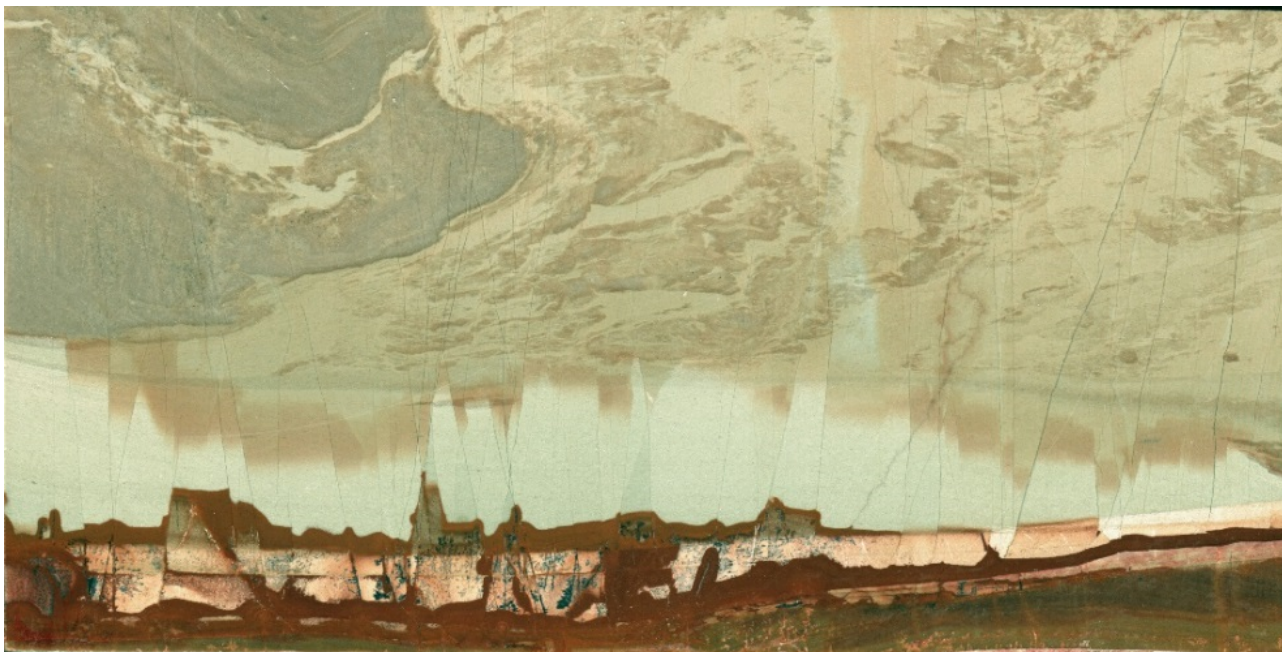
На многих пьетрах паесинах видны многоплановые структуры, состоящие из остроко-  
нечных пиков, причудливых колонн, гигантских сталактитов, фантастических миражей, аб-  
страктных полотен.



Как образовалось все это великолепие, до сих пор является предметом исследований. «Когда б вы знали, из какого сора...» сотворена завораживающая, как стихи Ахматовой, красота этого камня. По общему мнению, прозой жизни, которая обусловила образование пейзажного мрамора, явилось обогащение периодических кальциевых структур железными и марганцевыми оксигидроксидами и дальнейшее их окрашивание глинистыми минералами.



Пейзажи на пьетре паесине могут варьироваться тысячекратно, ни разу не повторяясь. Но среди них есть один, особый, который близок каждому, кто неторопливо путешествовал по итальянским дорогам, заезжая в небольшие городки Умбрии, Тосканы, Лацио. Вся местность утопает в зелени, долины прорезаны линейками тополей, холмы обрамлены ребрами крепостных стен, пиками церквей, полушариями соборов. Вот эта красота итальянской провинции и запечатлена в камне. Надо просто взглянуть в паесину – и все становится ясно, и слов не требуется.



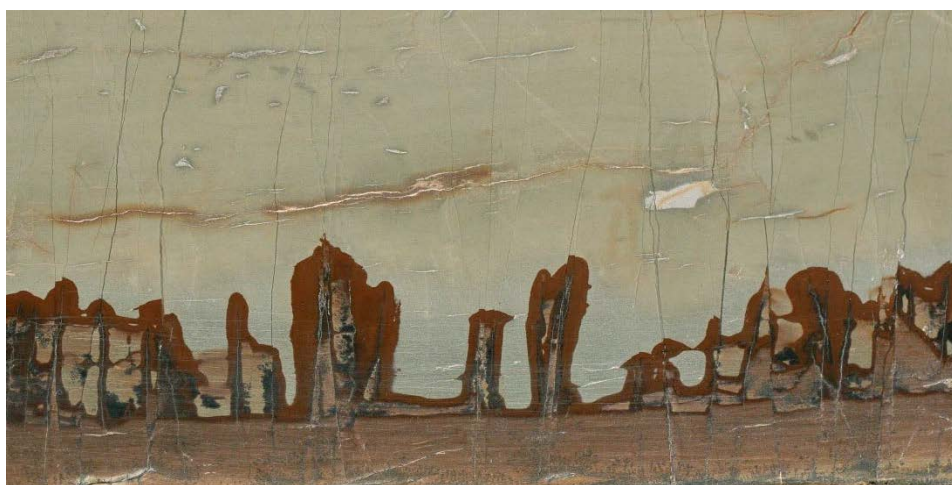


Распространенной темой многих паесин являются тщательно прописанные одиноко стоящие башни. Именно такие украшают знаменитую панораму Сан-Джиминьяно в Тоскане, а их неблизкие родственники привлекают туристов в села и крепости неподражаемой Хевсуретии.



Вообще говоря, взаимоотношение запечатленного на паесинах с реально существующим миром является весьма тонкой материей. А где тонко, там, как известно, всякое возможно. Вглядываясь во все новые и новые образцы, начинаешь верить в мистицизм камня, в его особую ауру и интеллект. Возникает некий антропоморфизм по отношению к способности пьетры паесины стимулировать воображение и вызывать бури эмоций. Начинаешь верить в индивидуальность и неповторимость каждого образца, в его артистическую ценность и незримую связь с человеком.

Например, эта паесина с первого взгляда приковала мое внимание. Еще не осознавая, в чем дело, я искал подходящий образ, пока не понял, что вижу «Пейзаж с Полифемом» Николя Пуссена. Дело в каком-то неформальном подобии гаммы и настроения. Но главную связующую роль играют, конечно, поднимающиеся к небу дымы. Не иначе как за одним из вулканов сидит Полифем и играет на свирели.



А здесь для меня иллюстрация к Одиссею и Навзикае. Особенно трогательно выглядит белое облачко – совсем как на картине Серова. Поражает, что никаких гомеровских персонажей на камне нет, а дух, композиция, цветовая гамма – все на месте.

Список замечательных паесин можно продолжать бесконечно. Вот сказочный замок. Мощный столб света уносит вверх все будничные мысли и чаяния его обитателей. А может быть, это небесный дождь снизошел на людей? Или это просто картинка из эпохи Возрождения? Или небесное знамение?



Не удивительно, что пьетра паесина, ее история и значение интересовали сюрреалистов. Андре Бретон, автор знаменитого Манифеста сюрреализма, посещал лучшие музейные коллекции в поисках особенно редких паесин, найденных еще в Средневековье. Его

друг и одновременно оппонент Роже Кайуа (*Roger Caillois*) всю жизнь собирал пейзажные камни и написал знаменитую книгу "*The Writing of Stones*", где отдельная глава посвящена итальянским пейзажным мраморам.

Горы. Кто-то очень одинокий воет в вышине и тишине. Плохо ему, одиноко...



У каждого времени свои сказки. Эту паесину я купил, когда север Израиля ежедневно обстреливался ракетами из Ливана. У нас дома в Тель-Авиве жили, переживая бомбежки, беженцы из Хайфы. Один из них увидел камень и спросил, что это за зверь. Я рассказал про Медичи, про сюрреализм, про тайну и мистицизм. Он присмотрелся внимательно к картинке и задумчиво произнес: «А по-моему, никакого сюрреализма. Ракета в центре композиции уже на подлете к цели, сейчас как долбанет...»

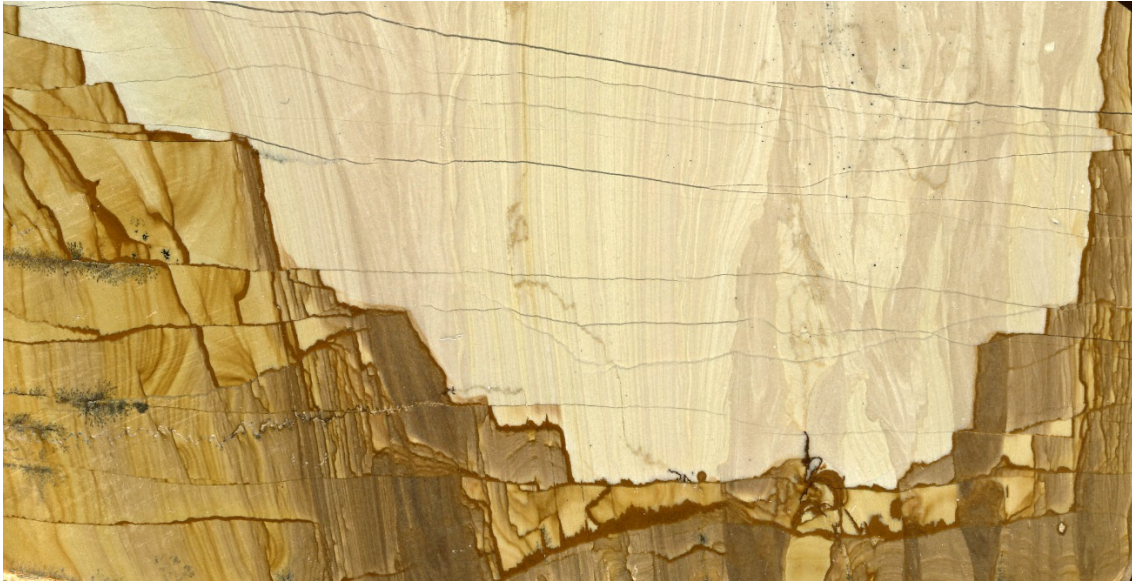


У каждого времени свои сказки. Эту паесину я купил, когда север Израиля ежедневно обстреливался ракетами из Ливана. У нас дома в Тель-Авиве жили, переживая бомбежки, беженцы из Хайфы. Один из них увидел камень и спросил, что это за зверь. Я рассказал про Медичи, про сюрреализм, про тайну и мистицизм. Он присмотрелся внимательно к картинке и задумчиво произнес: «А по-моему, никакого сюрреализма. Ракета в центре композиции уже на подлете к цели, сейчас как долбанет...»

Скалистые горные обрывы на фоне зеленоватого моря. Небольшой бриз поднимает барашки. А слева пасутся стада – Лигурия, Чинкве-Терре... Но если присмотреться, то слева отчетливо проступает человеческий профиль – лицо с опущенными ресницами. Такого рода эффекты с блеском использовал Дали.







Снова горы, точнее кубические, тяжелые скалы. Потoki воздуха поднимаются над ущельем, образуя струящиеся плотные драпировки. Это фантастический мир видений, где человек лишь черная, неотчетливая букашка в центре. Да и человек ли это вообще...



И, наконец, непревзойденный по умиротворенности морской пейзаж. Гамма немного северная, настроение пасторальное, от него веет задумчивостью и меланхолией. Но может быть, все дело в пасмурном небе?

Вот какие стихи посвятил паесине Пабло Неруда в 51-м году:

### ***Paesina stone***

*Orange stains..... of oxide  
green veins upon limestone peace  
that foam beats with its keys  
or dawn with its rose,  
this is how these stones are:  
nobody knows  
if they came from the sea  
or if they are returning to the sea,  
something surprised them while they were living,  
in immobility they passed away  
and built a dead city.  
A city with no shouts, no kitchens,  
a solemn fence..... of purity,  
pure forms fallen  
in disarray with no resurrection,  
in a multitude that lost its gaze  
in a grey monastery  
doomed to the naked truth of its gods.*

### ***Пьетра паесина***

Оранжевые пятна ... оксида,  
зеленые жилы в мире известняка,  
где пена бьет ключами  
или розовый рассвет,  
таковы эти камни:  
никто не знает,  
вышли они из моря  
или возвращаются в море,  
что-то удивляло их во время жизни...,  
неподвижные, они ушли  
и построили мертвый город.  
Город без криков, без кухонь,  
торжественный забор ..... чистоты,  
чистые формы упали  
в беспорядке, без воскрешения,  
в толпе, которая потеряла свой взгляд  
в сером монастыре,  
обречённые на обнаженную правду своих богов.

Со времен нашей поездки по центральной Италии, со времен Ассизи прошло немало лет. Я по-прежнему нахожусь в плену – пленник, околдованный первой встречей с пейзажным камнем вообще и с пьетрой паесино в частности. Я отдал им часть своей души, и взаимность была тому наградой. Я получил в подарок острое, как клинок, и нематериальное, как эфир, видение камня. Пройдены дороги, подросли дети, появились внуки. Свежесть восприятия сменилась яркостью воспоминаний, чувство удивления уступило место зрелой силе опыта, восторг сменился знанием. Лишь только страсть осталась неизменной. Под ее крылом красота волнует кровь, желание обладать напрягает жилы, улыбка фортуны по-прежнему заставляет чаще биться сердце.

Дорогие мои, я пишу о Камне, о Пьетре Паесине. По крайней мере, я так иногда думаю...



## Потерянное и найденное

Психологически очень трудно осознать, что в череде будней остается щелочка для встречи с чем-то удивительным, неповторимым, а порой и необъяснимым. Еще труднее представить, что в эту щель можно протиснуть свой нос, уши и плечи. А по старой спелеологической поговорке – если плечи прошли, то и все остальное пролезет. Одна из таких встреч случилась у меня в Бейт Шемеше.

Бейт Шемеш – это лес и город между Тель-Авивом и Иерусалимом. "Бейт" означает "дом", а "Шемеш" – "солнце", соответственно "Бейт Шемеш" – "дом солнца" или, точнее, "храм Солнца", поскольку Шемешем назывался древнесемитский вариант греческого Гелиоса. В храме Солнца отлично растут маслята. В сезон, в январе-феврале, на Бейт-Шемешских холмах их столько, что даже самому матерому грибнику не выкосить всю популяцию. Особый кайф собрать корзинку маслят на Новый год и отвезти ее в родные пенаты, в Питер, к новогоднему столу. Что-то в этом есть – пройтись по Петроградской под снежок с корзинкой маслят и на вопросы "откуда" отвечать невозмутимо "из-под Иерусалима, вестимо..."

Во время одной из грибных поездок в Бейт Шемеш я нашел на лесной дороге отличный агат. Камень имел выраженный рисунок четких опаловых линий на сероватом халцедоне и обещал в будущем еще много встреч со своими братьями. С тех пор прошло 15 лет. Я излазил вдоль и поперек окрестные горы – все напрасно. Обошел карьеры, спускался к Мертвому морю – пусто. Нет ни одного агата. Нет даже ничего похожего на агат. Как могло такое случиться? Откуда взялся тот камень? Искушение? Наваждение? Мираж? А камень, кстати, исчез. Полежал на балконе пару лет и растворился, как и не было. Скорее всего, ветром сдуло, зимой бывают здесь штормовые ветра. С квартиры той мы давно переехали, осталось лишь воспоминание, да как выдастся свободная минута – что-то свербит и гонит искать агаты в Бейт Шемеш. Чутье подсказывает, что есть все-таки в Иудейских горах заветный горизонт в известняках с жеодами агата. Иначе зачем было 40 лет бродить по пустыне...

Когда-то давно мой геологический гуру Виталий Семенович Сорокин говорил, что каждый камень уникален и создан природой в одном единственном экземпляре. Если повезет – увидишь свой камень, а не повезет – не увидишь никогда. Другой, похожий – может быть, но все равно это уже не то. "Каждый образец ценить надо, – говорил он, – и беречь, как Мону Лизу". Почему именно Мону Лизу выбрал Сорокин, неясно. Скорее всего, потому, что она женщина, красивая и – главное – загадочная.

Эту же мысль повторил много позднее знакомый геолог, сказав по-простому: "Чувак, тебе повезло, ты нашел свой камень – пойдешь домой и выпей: за свою удачу и за того парня, который не нашел этот камень до тебя!"

Есть камни, потерянные безвозвратно – навсегда. Мы были в Олимпосе, на берегу Средиземного моря. Когда-то здесь бурлил большой античный город в устье реки, шла жизнь, в гавани было шумно и многолюдно. Сюда приезжал из Рима император Адриан и, уединившись в одной из вилл, скромно писал книгу, пока ликующий народ переименовывал свой город в Адрианополь. Книга до нас не дошла, а руины Олимпоса поглотила буйная зелень. Пляж около Олимпоса галечный, весь состоящий из окатанных известняков и других осадочных пород. "Тоска, ничего интересного", – подумал я и вяло побрел по гальке по направлению к руинам. И вдруг я увидел её.

Хотя почему, собственно, я написал "её"? Ведь это был камень, обкатанный морем известняк, плоская овальная галька размером с ладонь. Камень – с застывшими чертами человеческого лица. Но почему я увидел "её", если это было лицо? Женское? Нет, лицо было мужским, неправильной формы, с чуть выступающим носом и глазами немного навывкате. Картина? Да, картина, конечно картина – прав был Фрейд со своими оговорками, это была "она" – фотография из камня, картина, которой быть не могло. Не пишет портретов природа, у нее другое призвание – пейзажиста.

Я поднял камень и внимательно осмотрел со всех сторон. Обычный известняк, плотный, серый, в одном углу проходит жилка кальцита. Нижняя поверхность практически гладкая, отшлифованная морем. Такая гладкая, что если бы не вес, можно было бы пустить "блинчики" по спокойной воде. Но с верхней поверхностью камня творилось что-то неладное. Солнце? Ну, конечно же, солнце, все дело, как всегда, в свете. Косые лучи накладыва-

ли тени именно там, где угадывались недостающие черты лица. Под носом наметился кривой рот, в нем не хватало нескольких зубов, чуть открытые губы выдавали резкий нрав. Рот, губы – их, конечно, не было, а было всего несколько штрихов на поверхности камня. Тени и воображение дописывали картину мастерски, не оставляя места сомнению.

Зато закралось сомнение в естественном происхождении камня. Ведь здесь был Олимпос, а в нем скульпторы, художники, ремесленники. Материал всегда под рукой. Может быть, море обкатало то, чего касался резец? Нет, камень был создан явно без участия человека. Один глаз набросал какой-то морской моллюск, оставивший дугу на месте своего крепления к мягкому известняку. Другой образовался за счет естественной выщерблены в камне. У носа отсутствовало одно крыло, причем отсутствовало от рождения, судя по характеру поверхности.

Словом, это был наверняка природный известняк, порождение окружающих гор и прибойных волн. И это был портрет ликийца, жителя Олимпоса, эллина по культуре и варвара по нраву. Я даже не удивился в этот момент, что нашел его именно там, где он и должен лежать, если бы его создал человек, а не несведущая в истории природа.

Особое умение оценить значимость события приходит апостериори – или, в переводе на русский, опосля. Шел себе, шел по берегу, по обыкновению смотрел под ноги, увидел камень, удивился, поднял. Или, скорее, наоборот – поднял, удивился, обрадовался, положил в карман, пошел дальше. И все... Нет – конечно, было обеспечено хорошее настроение на всю поездку, и мысли какие-то странные бегали, и вопросы... Но чтобы сразу сказать себе – ты нашел клад, просто никто еще об этом не знает, нашел то единственное и неповторимое, удивительное и необъяснимое, чему цены нет... Ничего подобного. Для этого смелость нужна или, по крайней мере, наглость.

Мы приехали домой в Тель-Авив, камень занял свое место где-то на книжных полках, рядом с остальной коллекцией. Я его даже не сфотографировал. Как такое могло быть, не знаю – наверное, забыл, закрутившись в суете. Потом, через несколько лет, убрали в квартире. Камень, на котором скопилось пыль, вытащили из шкафа. Гладкий известняк выскочил из рук, полы в Израиле каменные – в общем, как говорится: единственное число – "стекло", множественное – "дребезги"... Ликиец раскололся на десятки осколков, был подметен и выброшен. Я даже не сразу заметил его отсутствие. А когда хватился, то было поздно.

Я уверен: нет в природе второго такого. Этот артефакт был выдан из особой канцелярии, чтобы ткнуть носом в то, что удивительное – рядом. Нет ничего похожего, и не будет. Моне сделал сотни видов Руанского собора, каждый из них неповторимый, но если что из гениального ряда картин и пропало, то можно грустить, но можно и домысливать, поскольку Моне никогда не скрывал источников своего вдохновения и целей своего творчества. С природой дело обстоит хуже, так как все стоящее сделано в единственном экземпляре, для единственного заказчика. Знать бы еще его имя...

Севернее Тель-Авива, в районе Герцлии, над обрывистым берегом моря нависает прибрежный клиф. Это такой козырек высотой метров пятнадцать-двадцать, сложенный из особой породы – каркура – или, по-простому, местного известняка-ракушечника. Море энергично размывает известняк, весь берег усыпан его окатанными обломками. В силу структуры камня, многие гальки из каркура имеют сквозную дырку, их принято называть "куриными богами". В былые времена считалось, что такой камень защищает кур от всех напастей, но особенно он хорош для борьбы с кикиморами. Если в курятнике повесить на шнурке такой амулет, то кикиморы попрячутся в болотах и не удавят ни одной курицы. Не знаю, не проверял. Все известные мне кикиморы камней не боялись, а, скорее, наоборот, живо ими интересовались... Со временем языческие камни с дырочками начали рассматриваться, как эротический символ, скажем так, плодородия, и постепенно стали талисманами универсальной удачи. Длинный герцлийский пляж представляет собой огромное лежбище "куриных богов" самых разнообразных форм и мастей. Так что счастья с этого пляжа хватит на весь Израиль и немножко еще останется на экспорт в менее счастливые страны.

Среди герцлийских "куриных богов" очень редко, но попадаются действительно уникальные экземпляры. Иногда можно найти камни, по которым проходит серебристая патина. А иногда встречаются прозрачные голубовато-зеленые включения, больше всего похожие на плавленый аквамарин или хризопраз. Когда я увидел такое впервые, то глазам своим не поверил, поскольку плавленый аквамарин в известняке – это чересчур сильно даже для Святой Земли. Рассмотрев камень поближе, я убедился, что прозрачные участки выполнены не

минералом, а стеклом – но каким-то необычным, слегка опалесцирующим на поверхности. Камень имел явно антропогенное происхождение, то есть рука человека его не только касалась, но и создала.

С детства мы привыкли к тому, что необыкновенные находки и таинственные приключения случаются где-то очень далеко, за горизонтом. Там, за седьмой горой, там, за недоброй тучей – там все другое. Но оно не для нас, потому что нет нас там. Редкий минерал – это всегда дальние страны, джунгли-пустыни, Сибирь, Африка, затерянный мир с птеродактилями и мамонтами. А здесь, где мы есть, где топчем землю – здесь все обыденное и приземленное.

Годы, проведенные в Израиле, сумели надломить эти стереотипы, а "куриный бог" со стеклом внутри воодушевил и дал веру в себя. Как ему это удалось – не знаю, на то он и бог, даром что куриный. Было интересно выяснить, что же все-таки я нашел и не современная ли проза стоит за поэзией этого необычного камня.

И вот недавно на севере Герцлии открылся археологический парк "Аполлония". Первое, что встречает в нем посетителя, – стеклянная плита, прикипевшая к основанию из каркура. Оказалось, что когда-то на вершине герцлийского клифа находился финикийский город. Жившие у моря финикийцы трепетно относились к штормам и грозам, и потому назвали свой город "решеф", то есть "вспышка". Не исключено, что отсюда пошел род Ганнибала Барки – "Молниевая". Харизматичные финикийцы старались без особой нужды не ввязываться в драки со своими соседями и в высвободившееся время изобрели алфавит и пурпурную краску. Материал для краски и сейчас попадает на пляже – это моллюск мурех, тонкий, изящный, но, увы, редкий. Внешним видом пурпуноносный мурех немного напоминает черноморского рапана. Напоминает примерно так, как "Танцовщица" Дега напоминает "Рабочего и колхозницу" Веры Мухиной... Пурпурная краска высшего качества ценилась очень дорого. Не зря настоящие пурпурные тоги носил в Риме только император. Весь остальной истеблишмент одевался много скромнее, так как иначе могли случиться неприятности на работе и в личной жизни – Цезарь не любил соперников.

Но во времена императоров уже не было финикийского Решефа. На его месте стояла эллинистическая Аполлония, жители которой не занимались пурпуром, но унаследовали от финикийцев технологию производства стекла.

По легенде, изложенной вездесущим Плинием, однажды финикийские моряки везли из Африки природную соду. Высадившись на ночлег на берег, они принялись готовить пищу. Вокруг был один песок. Камней под рукой у них не оказалось, они поставили котел на куски соды. Выпив и закусив, моряки улеглись около огня, а утром открыли финикийское стекло. Так это было или иначе, но в Аполлонии около двух тысяч лет тому назад существовало стекольное производство. Продукт разливали в формы, сделанные из того, что было под рукой, то есть из каркура. Стекло пенилось, кипело, убегало и прикипало к форме – примерно как молоко прикипает к кастрюле. Из этой пенки образовался новый рукотворный минерал – стекловатый известняк-ракушечник. В XIII веке султан Бейбарс отбил у крестоносцев город Арсуф, возникший на месте Аполлонии. Он разрушил и сжег поселение и крепость, а стены сбросил в море, где они и лежат до сих пор. Море приняло добычу чисто по-женски – лаская и перемалывая. Формы из каркура с античным стеклом не избежали своей участи. Поверхность стекла под воздействием воды, ветра и времени начала слоиться и приобретать характерный опаловый блеск. Волны обкатали камни, эрозия и моллюски пропилили их тело. Так зародились редчайшие герцлийские "куриные боги".

Я очень люблю бывать в Аполлонии. Собственно, огромный античный город никто еще и не пробовал копать. Откопали лишь крепость крестоносцев, несколько римских вилл, стены, ров – и все. Вроде бы земли, скрывающие сам город, загажены каким-то военным производством. Очень может быть, с них станется. Так что на сегодняшний день Аполлония похожа на женщину с глубоким декольте, поскольку ее полуобнаженная красота оставляет



простор для полета фантазии. Бог, а вернее, черт знает, что еще скрывает клиф и окружающие его рукотворные холмы.

Совсем недавно я получил от своей приятельницы неоценимый подарок. Гуляя вдоль моря, она нашла обкатанный кусок каркура удивительной формы. Увидев этот камень у нее дома, я сначала онемел, а потом спросил:

– Элла, что это?!

– Правда, красиво? – сказала она. – Я нашла этот камень у моря.

– Камень? Это же русалка, Русалочка Андерсена, та самая, что сидит на камне в Копенгагене.

– Да? – сказала Элла. – Возможно. Я не замечала, мне просто понравился камень, в нем угадывается какая-то фигура.

Я посмотрел на камень еще раз. Русалочка смотрела на меня. Я мотнул головой, отгоняя наваждение, и отвернулся. Но Элла перехватила мой взгляд и запомнила. Она вообще очень наблюдательная.

И вот недавно она подарила мне этот камень. Он стоит на книжной полке рядом с другими находками.

– Тетка на мотоцикле, – сказала, посмотрев на камень, дочь.

– Какой мотоцикл? Это же русалка! – возопил я.

– Ну, папа, у тебя и глюки! – сказала дочка. – Посмотри, даже выхлопная труба видна.

– Понятно. И труба, и два колеса, и стартер...

– Я серьезно, – сказала она. – Ты лучше сфотографируй, а то будет, как с ликийцем.

Это была правильная мысль. Я сделал несколько фотографий. На половине из них сидит Русалочка, на другой – баба на мотоцикле.

Положив подарок на полку, я попросил не стирать с него пыль, и вообще – не трогать. Мало ли что, полы все еще каменные, а природа по-прежнему не терпит повторений.



## СОДЕРЖАНИЕ

Начало.....	4
Однажды.....	10
Аджарские агаты .....	22
Минводовские раритеты .....	30
Пьетра паесина.....	40
Потерянное и найденное .....	49

